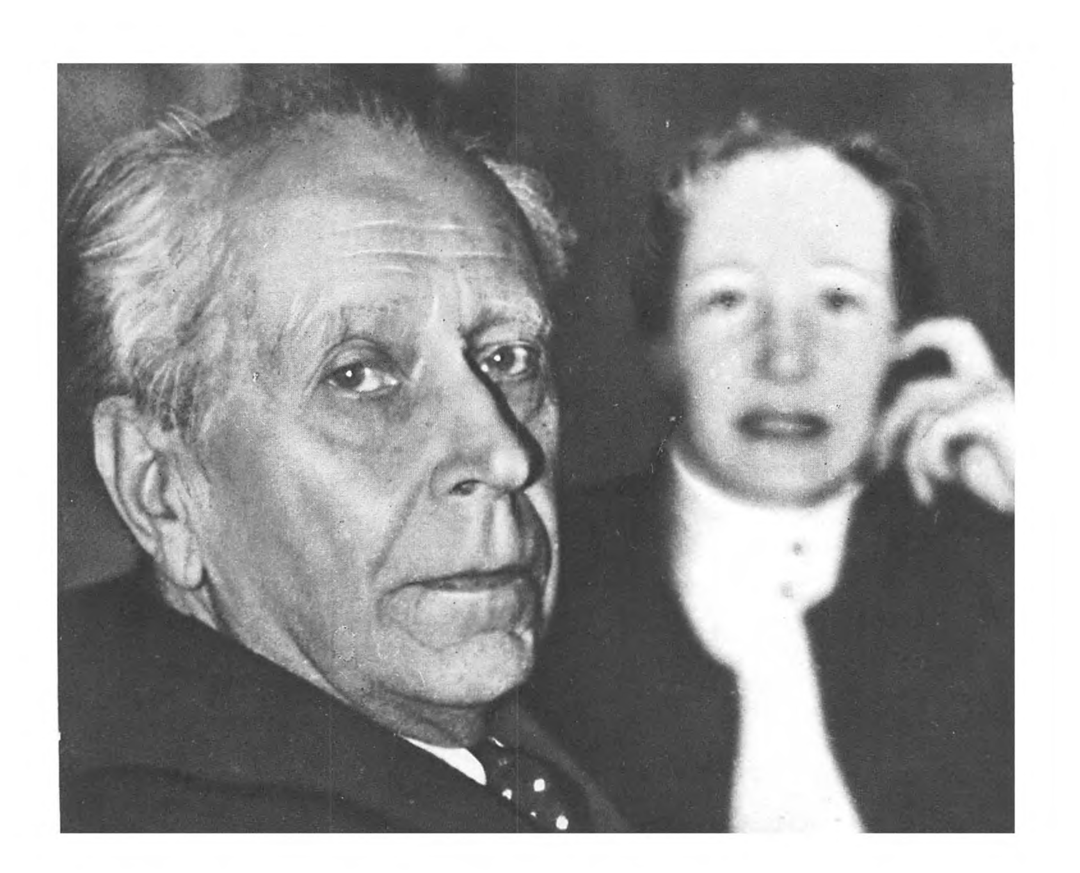
ДМИТРИЙ ЛИХАЧЕВ

ЗАМЕТКИ
О
РУССКОМ

МОСКВА
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1984



ДМИТРИЙ ЛИХАЧЕВ

ЗАМЕТКИ
О
РУССКОМ

Издание второе, дополненное

8
Л65

Художник **Г. Г. Федоров**

Л $\frac{4702010200-090}{М-105(03)84}$ 155—84

Природа, родник, Родина, просто доброта

Очень много у нас пишется о наших корнях, корнях русской культуры, но очень мало делается для того, чтобы по-настоящему рассказать широкому читателю об этих корнях, а наши корни — это не только древняя русская литература и русский фольклор, но и вся соседствующая нам культура. У России, как у большого дерева, большая корневая система и большая лиственная крона, соприкасающаяся с кронами других деревьев. Мы не знаем о себе самых простых вещей. И не думаем об этих простых вещах.

Я собрал у себя различные заметки, делавшиеся мной по разному поводу, но все на одну тему — о русском, и решил их предложить читателю.

Естественно, что раз заметки делались по разным поводам, то и характер их различный. Сперва я думал их привести к какому-то единству, придать стройность композиционную и стилистическую, но потом решил: пусть сохранится их нестройность и незаконченность. В нестройности моих заметок отразилась случайность поводов, по которым они писались: то это были ответы на письма, то заметки на полях прочитанных книг или отзывы по поводу прочитанных рукописей, то просто записи в записных книжках. Заметки должны остаться заметками: так в них будет меньше претенциозности. О русском можно писать очень много и все-таки нельзя исчерпать эту тему.

Все, что я пишу далее в своих заметках, это не результат проведенных мною исследований — это только «негромкая» полемика. Полемика с чрезвычайно распространившимся и у нас и на Западе представлением о русском национальном характере как о характере крайности и бескомпромиссности, «загадочном» и во всем доходящем до пределов возможного и невозможного (и, в сущности, недобром).

Вы скажете: но и в полемике следует доказывать! Ну а разве распространившееся ныне на Западе, да и частично у нас представление о русском национальном характере, о национальных особенностях русской культуры, и в частности литературы, доказано кем-либо?

Мне мое представление о русском, выросшее на основе многолетних занятий древнерусской литературой (но и не только ею), кажется более убедительным. Конечно, я здесь только коснусь этих своих представлений и лишь для того, чтобы опровергнуть другие — ходячие, ставшие своего рода «исландским мхом», мхом, который осенью отрывается от своих корней и «бродит» по лесу, подтолкнутый ногой, смытый дождями или сдвинутый ветром.

Национальное бесконечно богато. И нет ничего удивительного в том, что каждый воспринимает это национальное по-своему. В этих заметках о русском я и говорю именно о своем восприятии того, что может быть названо русским — русским в характере народа, русским в характере природы, городов, искусства и пр.

Каждое индивидуальное восприятие национального не противоречит другому его индивидуальному восприятию, а скорее дополняет, углубляет. И ни одно из этих личных восприятий национального не может быть исчерпывающим, бесспорным, даже просто претендовать на то, чтобы быть восприятием главного. Пусть и мое восприятие всего русского не исчерпывает всего главного в национальном русском характере. Я говорю в этих заметках о том, что кажется для меня лично самым драгоценным.

Читатель вправе спросить меня: почему же я считаю свои заметки о русском достойными его внимания, если я сам признаю их субъективность. Во-первых, потому, что во всяком субъективном есть доля объективного, а во-вторых, потому, что в течение всей жизни я занимаюсь русской литературой — древней в особенности — и русским фольклором. Этот мой жизненный опыт, как мне представляется, и заслуживает некоторого внимания.

Природа и доброта

Как-то приезжала ко мне в Комарово молодая переводчица из Франции. Она переводит две мои книги — «Поэтику древнерусской литературы» и «Развитие русской литературы X—XII вв.». Естественно, что у Франсуазы много затруднений с цитатами из древнерусских текстов и русского фольклора. Есть затруднения, так сказать, обычные: как передать все оттенки, которые имеются в русском, разные ласкательные, уменьшительные — всю ту вибрацию чувств, которая так хорошо отражена в русском фольклоре в отношении окружающего — людей и природы? Но вот одно место ее уж очень серьезно затруднило. Арина Федосова говорит в одном из своих причитаний о том, что после смерти своего мужа снова вышла замуж:

> Я опять, горе-бедна, кинулась,
> За друга сына да за отцовского...

Франсуаза спрашивает: «Что же это значит: она вышла за брата своего мужа? За другого сына отца своего прежнего мужа?» Я говорю: «Да нет, это просто такое выражение, Федосова хочет сказать, что у ее второго мужа тоже был отец». Франсуаза еще больше удивляется: «Но разве не у каждого

человека есть или был отец?» Я ей отвечаю: «Да, это так, но когда хочешь вспомнить о человеке с лаской, то мысль невольно кружится вокруг того, что у него были родные — может быть, дети, может быть, братья и сестры, жена, родители. Зимой я увидел, как погиб под грузовиком человек. В толпе больше всего говорили не о нем, а о том, что, может быть, у него дома остались дети, жена, старики... Жалели их. Это очень русская черта. И приветливость у нас часто выражается в таких словах: родненький, родименький, сынок, бабушка...» Франсуаза вспыхивает: «А, вот что это значит! Я на улице спросила одну пожилую женщину, как найти нужную мне улицу, а она сказала мне «доченька».— «Вот именно, Франсуаза, она хотела обратиться к вам ласково».— «Значит, она хотела сказать, что я могла бы быть ее дочерью? Но разве она не заметила, что я иностранка?» Я рассмеялся: «Конечно же, она заметила. Но она именно потому и назвала вас доченькой, что вы иностранка, чужая в этом городе — вы же ее спросили, как пройти куда-то».— «Ах!» — Франсуаза заинтересована. Я продолжаю: «Если вы иностранка, вы, значит, одна в Ленинграде. Пожилая женщина, называя вас доченькой, не хотела непременно сказать, что вы ее дочь. Она называла вас так потому, что у вас есть мать или была мать. И именно этим она вас приласкала».— «Как это по-русски!»

И дальше разговор пошел о том, где и когда в русской поэзии или в русской литературе ласковость к человеку выражается в том, что у него есть родные. Вот, например, «Повесть о Горе Злочастии». В ней выражается необыкновенная ласка к беспутному ее герою — мóлодцу, и начинается она с того, что у молодца этого были родители, которые берегли его и холили да жить «научали». А когда молодцу в «Повести о Горе Злочастии» становится особенно худо, то поет он «хорошую напевочку», которая начинается так:

Безпечална мати меня порóдила,
гребешком кудерцы́ розчесывала,
драгими порты меня одéяла
и отшед под ручку посмотрила,
хорошо ли мое чадо в драгих портах? —
а в драгих портах чаду и цены нет!

Значит, и красивым-то молодец вспоминает о себе с матерью — как мать на него «отшед под ручку посмотрила».

Франсуаза вспомнила, что в ее родном Безансоне поставлены «Три сестры» Чехова и французы очень любят эту пьесу. Ведь и тут речь идет именно о трех сестрах, а не о трех подругах, трех разных женщинах. То, что героини сестры, это ведь особенно и нужно русскому зрителю, чтобы им сочувствовать, возбудить к ним симпатии. Чехов замечательно угадал эту черту русского читателя, русского зрителя.

И дальше мы стали вспоминать, сколько в русском языке слов с корнем «род»: родной, родник, родинка, народ, природа, родина... И «порода» — лучшее, что дает природа в совокупных усилиях с человеком. Даже камни принадлежат к какой-нибудь породе.

Слова эти как бы сами слагаются вместе — родники родимой природы, прирожденность родникам родной природы. Исповедь земле. Земля — это главное в природе. Земля рождающая. Земля урожая. И слово «цвет» — от цветов! Цвета цветов! Рублевское сочетание — васильки среди спелой ржи. А может быть, голубое небо над полем спелой ржи? Все-таки васильки — сорняк, и сорняк слишком яркий, густо-синий, не такой, как в рублевской

«Троице». Крестьянин не признает васильки своими, и рублевский цвет не синий, а скорее небесно-голубой. И у неба сияюще синий цвет, цвет неба, под которым зреют колосистые поля ржи (в этом слове тоже корень, связанный с ростом, урожаем, рождением; рожь — это то, что рожает земля).

Просторы и пространство

Для русских природа всегда была свободой, волей, привольем. Прислушайтесь к языку: погулять на воле, выйти на волю. Воля — это отсутствие забот о завтрашнем дне, это беспечность, блаженная погруженность в настоящее.

Широкое пространство всегда владело сердцами русских. Оно выливалось в понятия и представления, которых нет в других языках. Чем, например, отличается воля от свободы? Тем, что воля вольная — это свобода, соединенная с простором, с ничем не прегражденным пространством. А понятие тоски, напротив, соединено с понятием тесноты, лишением человека пространства. Притеснять человека — это прежде всего лишать его пространства, теснить. Вздох русской женщины: «Ох, тошнехонько мне!» Это не только означает, что ей плохо, но, что ей тесно,— некуда деваться.

Воля вольная! Ощущали эту волю даже бурлаки, которые шли по бечеве, упряженные в лямку, как лошади, а иногда и вместе с лошадьми. Шли по бечеве, узкой прибрежной тропе, а кругом была для них воля. Труд подневольный, а природа кругом вольная. И природа нужна была человеку большая, открытая, с огромным кругозором. Поэтому так любимо в народной песне полюшко-поле. Воля — это большие пространства, по которым можно идти и идти, брести, плыть по течению больших рек и на большие расстояния, дышать вольным воздухом, воздухом открытых мест, широко вдыхать грудью ветер, чувствовать над головой небо, иметь возможность двигаться в разные стороны — как вздумается.

Что такое воля вольная, хорошо определено в русских лирических песнях, особенно разбойничьих, которые, впрочем, создавались и пелись вовсе не разбойниками, а тоскующими по вольной волюшке и лучшей доле крестьянами. В этих разбойничьих песнях крестьянин мечтал о беспечности и отплате своим обидчикам.

Русское понятие храбрости — это удаль, а удаль — это храбрость в широком движении. Это храбрость, умноженная на простор для выявления этой храбрости. Нельзя быть удалым, храбро отсиживаясь в укрепленном месте. Слово «удаль» очень трудно переводится на иностранные языки. Храбрость неподвижная еще в первой половине XIX века была непонятна. Грибоедов смеется над Скалозубом, вкладывая в его уста такие слова: «...за третье августа; засели мы в траншею: Ему дан с бантом, мне на шею». Для современников Грибоедова смешно — как это можно «засесть», да еще в «траншею», где уж вовсе не пошевельнешься, и получить за это боевую награду?

Да и в корне слова «подвиг» тоже «застряло движение»: «по-двиг», то

есть то, что сделано движением, побуждено желанием сдвинуть с места что-то неподвижное.

В одном из писем Николая Рериха, написанном в мае — июне 1945 года и хранящемся в фонде Славянского антифашистского комитета в Центральном государственном архиве Октябрьской революции, есть такое место: «Оксфордский словарь узаконил некоторые русские слова, принятые теперь в мире; например, слова «указ» и «совет» упомянуты в этом словаре. Следовало добавить еще одно слово — непереводимое, многозначительное, русское слово «подвиг». Как это ни странно, но ни один европейский язык не имеет слова хотя бы приблизительного значения...» И далее: «Героизм, возвещаемый трубными звуками, не в состоянии передать бессмертную, всезавершающую мысль, вложенную в русское слово «подвиг». Героический поступок — это не совсем то, доблесть — его не исчерпывает, самоотречение — опять-таки не то, усовершенствование — не достигает цели, достижение — имеет совсем другое значение, потому что подразумевает некое завершение, между тем как подвиг безграничен. Соберите из разных языков ряд слов, означающих идеи передвижения, и ни одно из них не будет эквивалентно сжатому, но точному русскому термину «подвиг». И как прекрасно это слово: оно означает больше, чем движение вперед,— это «подвиг»...» И еще: «Подвиг не только можно обнаружить у вождей нации. Множество героев есть повсюду. Все они трудятся, все они вечно учатся и двигают вперед истинную культуру. «Подвиг» означает движение, проворство, терпение и знание, знание, знание. И если иностранные словари содержат слова «указ» и «совет», то они обязательно должны включить лучшее русское слово — «подвиг»...»

В дальнейшем мы видим, насколько глубок Н. Рерих в своем определении оттенков слова «подвиг», слова, выражающего какие-то сокровенные черты русского человека.

Но продолжим о движении.

Помню в детстве русскую пляску на волжском пароходе компании «Кавказ и Меркурий». Плясал грузчик (звали их крючниками). Он плясал, выкидывая в разные стороны руки, ноги, и в азарте сорвал с головы шапку, далеко кинув ее в столпившихся зрителей, и кричал: «Порвусь! Порвусь! Ой, порвусь!» Он стремился занять своим телом как можно больше места.

Русская лирическая протяжная песнь — в ней также есть тоска по простору. И поется она лучше всего вне дома, на воле, в поле.

Колокольный звон должен был быть слышен как можно дальше. И когда вешали на колокольню новый колокол, нарочно посылали людей послушать, за сколько верст его слышно.

Быстрая езда — это тоже стремление к простору.

Но то же особое отношение к простору и пространству видно и в былинах. Микула Селянинович идет за плугом из конца в конец поля. Вольге приходится его три дня нагонять на молодых бухарских жеребчиках.

Услыхали они в чисто́м поли пахаря,
Пахаря-пахарюшка.
Они по день ехали в чисто́м поли,
Пахаря не наехали,
И по дру́гой день ехали с утра до ве́чера.
Пахаря не наехали.
И по третий день ехали с утра до вечера,
Пахаря и наехали.

Ощущение пространства есть и в зачинах к былинам, описывающих русскую природу, есть и в желаниях богатырей, Вольги например:

Похотелось Вольги́-то много мудрости:
Щукой рыбою ходить Вольги́ во синих морях,
Птицей соколом летать Вольги под облока,
Волком рыскать во чисты́х полях.

Или в зачине былины «Про Соловья Будимировича»:

Высота ли, высота поднебесная,
Глубота, глубота акиян-море,
Широко раздолье по всей земли,
Глубоки омоты днепровския...

Даже описание теремов, которые строит «дружина хоро́брая» Соловья Будимировича в саду у Забавы Путятичны, содержит этот же восторг перед огромностью природы:

Хорошо в теремах изукрашено:
На небе солнце — в тереме солнце,
На небе месяц — в тереме месяц,
На небе звезды — в тереме звезды,
На небе заря — в тереме заря
И вся красота поднебесная.

Восторг перед пространствами присутствует уже и в древней русской литературе — в летописи, в «Слове о полку Игореве», в «Слове о погибели Русской земли», в житии Александра Невского, да почти в каждом произведении древнейшего периода XI—XIII веков. Всюду события либо охватывают огромные пространства, как в «Слове о полку Игореве», либо происходят среди огромных пространств с откликами в далеких странах, как в житии Александра Невского. Издавна русская культура считала волю и простор величайшим эстетическим и этическим благом для человека.

А теперь взгляните на карту мира: русская равнина самая большая в свете. Равнина ли определила русский характер или восточнославянские племена остановились на равнине, потому, что она пришлась им по душе?

Еще о доброте

Мне не кажутся правильными банальные характеристики новгородских и псковских церквей как преисполненных только силы и мощи, как грубых и лаконичных в своей простоте. Для этого они прежде всего слишком невелики.

Руки строителей словно вылепили их, а не «вытягивали» кирпичом и не вытесывали их стены. Поставили их на пригорках — где виднее, позволили им заглянуть в глубину рек и озер, приветливо встречать «плавающих и путешествующих». Их строили в единении с природой, не чертили предварительно планы на пергамене или бумаге, а делали чертеж прямо на земле

и потом уж вносили поправки и уточнения при самом строительстве, присматриваясь к окружающему пейзажу.

И вовсе не противоположны этим простым и веселым строениям, побеленным и по-своему «приневестившимся», московские церкви. Пестрые и асимметричные, как цветущие кусты, золотоглавые и приветливые, они поставлены точно шутя, с улыбкой, а иногда и с кротким озорством бабушки, дарящей своим внукам радостную игрушку. Недаром в древних памятниках, хваля церкви, говорили: «Храмы веселуются». И это замечательно: все русские церкви — это веселые подарки людям, любимой улочке, любимому селу, любимой речке или озеру. И как всякие подарки, сделанные с любовью, они неожиданны: неожиданно возникают среди лесов и полей, на изгибе реки или дороги.

Московские церкви XVI и XVII веков не случайно напоминают игрушку. Недаром у церкви есть глаза, шея, плечи, подошва и «очи» — окна с бровками или без них. Церковь — микрокосм, как микромир — игрушечное царство ребенка, а в игрушечном царстве ребенка человек занимает главное место.

Среди многоверстных лесов, в конце длинной дороги возникают северные деревянные церкви — украшение окружающей природы.

Не случайно так любили в Древней Руси и некрашеное дерево — теплое и нежное при прикосновении. Деревенская изба и до сих пор полна деревянных вещей — в ней не ушибешься больно и вещь не встретит руки хозяина или гостя неожиданным холодком. Дерево всегда теплое, в нем есть что-то человеческое.

Все это говорит не о легкости жизни, а о той доброте, с которой человек встречал окружающие его трудности. Древнерусское искусство преодолевает окружающую человека косность, расстояния между людьми, мирит его с окружающим миром. Оно — доброе.

Стиль барокко, проникший в Россию в XVII веке, особенный. Он стал особенным именно в России. Он лишен глубокой и тяжеловатой трагичности западноевропейского барокко. В русском барокко нет интеллектуальной трагедии. Он более, казалось бы, поверхностный и вместе с тем более веселый, легкий и, может быть, даже чуть легкомысленный. Русское барокко заимствовало у Запада лишь внешние элементы, использовав их для разных архитектурных затей и выдумок. Это необычно для церковного искусства, и нигде в мире нет такого радостного и веселого религиозного сознания, такого веселого церковного искусства. Царь Давид Псалмопевец, пляшущий перед ковчегом завета, слишком серьезен сравнительно с этими развеселыми и пестрыми, улыбчатыми строениями.

Так было и при барокко и до появления барокко в России. Не надо далеко ходить за примерами: церковь Василия Блаженного. Называлась она сперва церковью Покрова на рву, а потом народ окрестил ее церковью Василия Блаженного — юродивого, святого, в честь которого был создан один из ее приделов. Василий — это святой-глупец. И действительно, стоит зайти внутрь этого храма, чтобы поразиться его дурашливости. Внутри его тесно и можно легко запутаться. Не случайно этот храм не впустили в Кремль, а поставили на посаде, среди торга. Это баловство, а не храм, но баловство святое и святая радость. Что же касается до дурашливости, то недаром в русском языке «ах ты мой глупенький», «ах ты мой дурачок» — самые ласковые из ласкательств. И дурак в сказках оказывается умнее самого умного и счастливее

самых удачливых: «Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак». Так сказано в ершовском «Коньке-Горбунке», и сказано очень по-народному. Дурак женится в конце концов на царевне, и помогает ему в этом последняя из всех лошадок — нелепый и некрасивый Конек-Горбунок. Но достается Иванушке все же только полцарства, а не целое. И что он с этим полцарством делать будет дальше — неизвестно. Должно быть, бросит. И царство, в котором царствуют дураки,— не от мира сего.

Дурашливость архитектуры Василия Блаженного в ее непрактичности. Как будто церковь, а зайти помолиться почти что и некуда. Если зайдешь — заблудишься. И сколько в ней украшений без практических целей, просто так: вздумалось зодчему — и сделал (чуть-чуть не сказал «сделалось», в церкви и в самом деле много такого, что получилось как бы само собой).

Спрашивается: почему зодчие делали так, а не иначе? А ответ, должно быть, у зодчих был такой: «Чтобы чуднée было». И стоит эта чýдная церковь, чýдная и чуднáя одновременно, и чудесит среди Москвы на самом видном и доступном месте. По-древнерусски доступное место — это то, с которого легче всего доступáть, брать крепость приступом. Тут бы врагам и в самом деле доступать — штурмовать Кремль, а церковь веселит собой народ, противореча соседнему Лобному месту, где казнили и объявляли указы.

Во времена Грозного она была построена как своего рода вызов порядку и строгости. Русские дураки и юродивые не столько о своей глупости свидетельствовали, сколько чужую выявляли, а особенно боярскую и царскую.

Место дураков было в Древней Руси по соседству с царями, сидели они на ступеньках трона, хотя это царям и не особенно нравилось. Тут на троне царь со скипетром, а рядом дурачок с кнутиком и у народа любовью пользуется. Того и гляди Иванушка-дурачок Иваном-царевичем станет.

Но в Кремле в свое время Василия Блаженного не удалось построить, а Иванушке царством овладеть, хоть и владел он человеческими сердцами, но полцарства, которое он получает в сказке, женившись на царевне, не настоящее царство.

Кажется, сам «батюшка» Иван Грозный завидовал славе Иванушки-дурачка и юродствовал вовсю. И женился без конца, и царство надвое делил, чтобы с полцарством остаться, и опричный двор в Александровском заводил со всяким шутовством. Даже от царства отрекался, шапку Мономаха на касимовского царевича Симеона Бекбулатовича надевал, а сам на простых дровнях в оглоблях к нему ездил (то есть проявлял высшее смирение — в простой мужицкой упряжке) и сам челобитные ему униженные писал. Балагурил в своих посланиях боярам и иностранным государям и в монастырь якобы собирался... Но все ж Иванушкой Иван не становился. Шуточки у него были самые людоедские. В своих челобитных царю Симеону просил он разрешения «людишек перебрать», а в оглоблях по Москве не ездил, а носился во весь опор, давя народ на площадях и улицах. Любви народной не заслужил, хотя и пытались его когда-то изображать почти что народным царем.

Зато ходили дураки по всей Руси, странствовали, с дикими зверями и птицами разговаривали, балагурили, учили царя не слушать. Скоморохи подражали дуракам, шутки шутили, будто не понимая, будто над собой смеясь, но учили народ, учили...

Учили они любить волюшку, не принимать чужого важничания и спеси, не копить много добра, легко отрываться от своего, нажитого, легко жить,

как и легко странствовать по родной земле, принимать у себя и кормить странников, но не принимать всяческой кривды.

И совершали скоморохи и юродивые подвиг — тот подвиг, который делал их почти что святыми, а часто и святыми. Юродивых нередко народная молва объявляла святыми, да и скоморохов тоже. Вспомните замечательнейшую новгородскую былину «Вавило скоморох».

А скоморохи люди не простые —
Скоморохи люди святые.

Кое-что из скоморошьей науки откладывалось в сердце народа, ибо народ сам создает себе своих учителей. Идеал существовал еще до того, как он ясно воплотился. В опере Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже» народ обращается к медведю: «Покажи-ка, мишенька, покажи, дурашливый...» Составитель либретто оперы В. Бельский понял здесь эту важную черту народа.

Хороший в русском языке — это прежде всего добрый. «Пришли мне чтения доброго»,— пишет своей жене в берестяной грамоте один новгородец. Доброе чтение — хорошее чтение. И товар добрый — это хороший товар, добротный. Доброта — это человеческое качество, ценнейшее из всех. Добрый человек уже самой своей добротой превозмогает все человеческие недостатки. В старое время, в Древней Руси, доброго не назовут глупым. Дурак русских сказок добрый, а следовательно, поступает по-умному и свое в жизни получит. Дурачок русских сказок уродливого коня-«горбунка» приласкает и жар-птицу, прилетевшую пшеницу воровать, отпустит. Те за него потом и сделают в трудную минуту все, что нужно. Доброта — она всегда умная. Дурак всем правду говорит, потому что для него не существует никаких условностей и нет у него никакого страха.

А в эпоху Грозного, в самый террор, нет-нет да доброта народная скажется. Сколько добрых о́бразов в образах-иконах создали древнерусские иконописцы второй половины XVI века: умудренных философией (то есть любовью к мудрости) отцов церкви, толпы святых, завороженных песнью, сколько нежного материнства и заботы о людях в небольших семейных иконах того же времени! Следовательно, не ожесточалось сердце всех в XVI веке. Были люди и добрые, и человечные, и бесстрашные. Доброта народная торжествовала.

Во фресках Андрея Рублева во владимирском Успенском соборе изображено шествие людей на Страшный суд. На адские муки люди идут с просветленными лицами: возможно, на белом свете еще хуже, чем в преисподней...

Любит русский народ дураков не за то, что они глупые, а за то, что умные: умные высшим умом, который не в хитрости и обмане других заключен, не в плутовстве и удачном преследовании своей узкой выгоды, а в мудрости, знающей истинную цену всякой фальши, показной красивости и скопидомству, видящей цену в совершении добра другим, а следовательно и себе, как личности.

И не всякого дурака и чудака любит русский народ, а только такого, который некрасивого конька-«горбунка» приголубит, голубка не обидит, деревце говорящее не сломает, а потом и свое другим отдаст, природу сбережет и родимых родителей ува́жит. Такому «дураку» не просто красавица достанется, а царевна из окошечка перстень обручальный отдаст, а с ним вместе и полцарства-государства в приданое.

Русская природа и русский характер

Я отмечал уже, как сильно воздействует русская равнина на характер русского человека. Мы часто забываем в последнее время о географическом факторе в человеческой истории. Но он существует, и никто никогда его не отрицал.

Сейчас я хочу сказать о другом — о том, как в свою очередь воздействует человек на природу. Это не какое-нибудь открытие с моей стороны, просто я хочу поразмышлять и на эту тему.

Начиная с XVIII и ранее, с XVII века утвердилось противопоставление человеческой культуры природе. Века эти создали миф о «естественном человеке», близком природе и потому не только не испорченном, но и необразованном. Открыто или скрытно естественным состоянием человека считалось невежество. И это не только глубоко ошибочно, это убеждение повлекло за собой представление о том, что всякое проявление культуры и цивилизации неорганично, способно испортить человека, а потому надо возвращаться к природе и стыдиться своей цивилизованности.

Это противопоставление человеческой культуры как якобы «противоестественного» явления «естественной» природе особенно утвердилось после Ж.-Ж. Руссо и сказалось в России в особых формах развившегося здесь в XIX веке своеобразного руссоизма: в народничестве, толстовских взглядах на «естественного человека» — крестьянина, противопоставляемого «образованному сословию», просто интеллигенции.

Хождения в народ в буквальном и переносном смысле привели в некоторой части нашего общества в XIX и XX веках ко многим заблуждениям в отношении интеллигенции. Появилось и выражение «гнилая интеллигенция», презрение к интеллигенции якобы слабой и нерешительной. Создалось и неправильное представление об «интеллигенте» Гамлете как о человеке, постоянно колеблющемся и нерешительном. А Гамлет вовсе не слаб: он преисполнен чувства ответственности, он колеблется не по слабости, а потому что мыслит, потому что нравственно отвечает за свои поступки.

Врут про Гамлета, что он нерешителен.
Он решителен, груб и умен,
Но когда клинок занесен,
Гамлет медлит быть разрушителен
И глядит в перископ времен.
Не помедлив, стреляют злодеи
В сердце Лермонтова или Пушкина...

(Из стихотворения *Д. Самойлова* «Оправдание Гамлета»)

Образованность и интеллектуальное развитие — это как раз суть, естественные состояния человека, а невежество, неинтеллигентность — состояния ненормальные для человека. Невежество или полузнайство — это почти болезнь. И доказать это легко могут физиологи.

В самом деле, человеческий мозг устроен с огромным запасом. Даже народы с наиболее отсталым образованием имеют мозг «на три Оксфордских

университета». Думают иначе только расисты. А всякий орган, который работает не в полную силу, оказывается в ненормальном положении, ослабевает, атрофируется, «заболевает». При этом заболевание мозга перекидывается прежде всего в нравственную область.

Противопоставление природы культуре вообще не годится еще по одной причине. У природы ведь есть своя культура. Хаос вовсе не естественное состояние природы. Напротив, хаос (если только он вообще существует) — состояние природы противоестественное.

В чем же выражается культура природы? Будем говорить о живой природе. Прежде всего она живет обществом, сообществом. Существуют растительные ассоциации: деревья живут не вперемешку, а известные породы совмещаются с другими, но далеко не всеми. Сосны, например, имеют соседями определенные лишайники, мхи, грибы, кусты и т. д. Это помнит каждый грибник. Известные правила поведения свойственны не только животным (об этом знают все собаководы, кошатники, даже живущие вне природы, в городе), но и растениям. Деревья тянутся к солнцу по-разному — иногда шапками, чтобы не мешать друг другу, а иногда раскидисто, чтобы прикрывать и беречь другую породу деревьев, начинающую подрастать под их покровом. Под покровом ольхи растет сосна. Сосна вырастает, и тогда отмирает сделавшая свое дело ольха. Я наблюдал этот многолетний процесс под Ленинградом в Токсове, где во время первой мировой войны были вырублены все сосны и сосновые леса сменились зарослями ольхи, которая затем прилелеяла под своими ветвями молоденькие сосенки. Теперь там снова сосны.

Природа по-своему «социальна». «Социальность» ее еще и в том, что она может жить рядом с человеком, соседствовать с ним, если тот, в свою очередь, социален и интеллектуален сам.

Русский крестьянин своим многовековым трудом создавал красоту русской природы. Он пахал землю и тем задавал ей определенные габариты. Он клал меру своей пашне, проходя по ней с плугом. Рубежи в русской природе соразмерны труду человека и лошади, его способности пройти с лошадью за сохой или плугом, прежде чем повернуть назад, а потом снова вперед. Приглаживая землю, человек убирал в ней все резкие грани, бугры, камни. Русская природа мягкая, она ухожена крестьянином по-своему. Хождения крестьянина за плугом, сохой, бороной не только создавали «полосыньки» ржи, но ровняли границы леса, формировали его опушки, создавали плавные переходы от леса к полю, от поля к реке или озеру.

Русский пейзаж в основном формировался усилиями двух великих культур: культуры человека, смягчающего резкости природы, и культуры природы, в свою очередь смягчавшей все нарушения равновесия, которые невольно вносил в нее человек. Ландшафт создавался, с одной стороны, природой, готовой освоить и прикрыть все, что так или иначе нарушил человек, и с другой — человеком, мягчившим землю своим трудом и смягчавшим пейзаж. Обе культуры как бы поправляли друг друга и создавали ее человечность и приволье.

Природа Восточно-Европейской равнины кроткая, без высоких гор, но и не бессильно плоская, с сетью рек, готовых быть «путями сообщения», и с небом, не заслоненным густыми лесами, с покатыми холмами и бесконечными, плавно обтекающими все возвышенности дорогами.

И с какой тщательностью гладил человек холмы, спуски и подъемы! Здесь опыт пахаря создавал эстетику параллельных линий, линий, идущих в унисон

друг с другом и с природой, точно голоса в древнерусских песнопениях. Пахарь укладывал борозду к борозде как причесывал, как укладывал волосок к волоску. Так лежит в избе бревно к бревну, плаха к плахе, в изгороди — жердь к жерди, а сами избы выстраиваются в ритмичный ряд над рекой или вдоль дороги — как стадо, вышедшее к водопою.

Поэтому отношения природы и человека — это отношения двух культур, каждая из которых по-своему «социальна», общежительна, обладает своими «правилами поведения». И их встреча строится на своеобразных нравственных основаниях. Обе культуры — плод исторического развития, причем развитие человеческой культуры совершается под воздействием природы издавна (с тех пор как существует человечество), а развитие природы сравнительно с ее многомиллионнолетним существованием — сравнительно недавно и не всюду под воздействием человеческой культуры. Одна (культура природы) может существовать без другой (человеческой), а другая (человеческая) не может. Но все же в течение многих минувших веков между природой и человеком существовало равновесие. Казалось бы, оно должно было оставлять обе части равными, проходить где-то посередине. Но нет, равновесие всюду свое и всюду на какой-то своей, особой основе, со своею осью. На севере в России было больше природы, а чем ближе к степи, тем больше человека.

Тот, кто бывал в Кижах, видел, вероятно, как вдоль всего острова тянется, точно хребет гигантского животного, каменная гряда. Около этого хребта бежит дорога. Этот хребет образовывался столетиями. Крестьяне освобождали свои поля от камней — валунов и булыжников — и сваливали их здесь, у дороги. Образовался ухоженный рельеф большого острова. Весь дух этого рельефа пронизан ощущением многовековья. И недаром жила здесь на острове из поколения в поколение семья сказителей былин Рябининых.

Пейзаж России на всем ее богатырском пространстве как бы пульсирует, он то разряжается и становится более природным, то сгущается в деревнях, погостах и городах, становится более человечным. В деревне и в городе продолжается тот же ритм параллельных линий, который начинается с пашни. Борозда к борозде, бревно к бревну, улица к улице. Крупные ритмические деления сочетаются с мелкими, дробными. Одно плавно переходит к другому.

Город не противостоит природе. Он идет к природе через пригород. «Пригород» — это слово, как нарочно созданное, чтобы соединить представление о городе и природе. Пригород — при городе, но он и при природе. Пригород — это деревня с деревьями, с деревянными полудеревенскими домами. Он прильнул огородами и садами к стенам города, к валу и рву, но прильнул и к окружающим полям и лесам, отобрав от них немного деревьев, немного огородов, немного воды в свои пруды и колодцы. И все это в приливах и отливах скрытых и явных ритмов — грядок, улиц, домов, бревнышек, плах мостовых и мостиков[1].

---

[1] О том, как строились древнерусские города, есть интереснейшая, хотя и сухо названная статья Г. В. Алферовой — «Организация строительства городов в Русском государстве в XVI—XVII веках» (Вопросы истории, 1977, № 7, с. 50—66). Ее же. К вопросу о строительстве городов в Московском государстве в XVI—XVII вв.— Архитектурное наследство, № 28, 1980, с. 20—28. Кудрявцев М. П., Кудрявцева Т. Н. Ландшафт в композиции древнерусского города.— Там же, с. 3—12.

О русской пейзажной живописи

В русской пейзажной живописи очень много произведений, посвященных временам года: осень, весна, зима — любимые темы русской пейзажной живописи на протяжении всего XIX века и позднее. И главное, в ней не неизменные элементы природы, а чаще всего временные: осень ранняя или поздняя, вешние воды, тающий снег, дождь, гроза, зимнее солнце, выглянувшее на мгновение из-за тяжелых зимних облаков, и т. п. В русской природе нет вечных, не меняющихся в разные времена года крупных объектов вроде гор, вечнозеленых деревьев. Все в русской природе непостоянно по окраске и состоянию. Деревья — то с голыми ветвями, создающими своеобразную «графику зимы», то с листвой яркой, весенней, живописной. Разнообразнейший по оттенкам и степени насыщенности цветом осенний лес. Разные состояния воды, принимающей на себя окраску неба и окружающих берегов, меняющихся под действием сильного или слабого ветра («Сиверко» Остроухова), дорожные лужи, различная окраска самого воздуха, туман, роса, иней, снег — сухой и мокрый. Вечный маскарад, вечный праздник красок и линий, вечное движение — в пределах года или суток.

Все эти изменения есть, конечно, и в других странах, но в России они как бы наиболее заметны благодаря русской живописи, начиная с Венецианова и Мартынова. В России континентальный климат, и этот континентальный климат создает особенно суровую зиму и особенно жаркое лето, длинную, переливающуюся всеми оттенками красок весну, в которой каждая неделя приносит с собой что-то новое, затяжную осень, в которой есть и ее самое начало с необыкновенной прозрачностью воздуха, воспетое Тютчевым, и особой тишиной, свойственной только августу, и поздняя осень, которую так любил Пушкин. Но в России в отличие от юга, особенно где-нибудь на берегах Белого моря или Белого озера, необыкновенно длинные вечера с закатным солнцем, которое создает на воде переливы красок, меняющиеся буквально в пятиминутные промежутки времени, целый «балет красок», и замечательные — длинные-длинные — восходы солнца. Бывают моменты (особенно весной), когда солнце «играет», точно его гранил опытный гранильщик. Белые ночи и «черные», темные дни в декабре создают не только многообразную гамму красок, но и чрезвычайно богатую палитру эмоциональную. И русская поэзия откликается на все это многообразие.

Интересно, что русские художники, оказываясь за границей, искали в своих пейзажах эти перемены времени года, времени дня, эти «атмосферические» явления. Таков был, например, великолепный пейзажист, остававшийся русским во всех своих пейзажах Италии именно благодаря этой своей чуткости ко всем изменениям «в воздухе»,— Сильвестр Щедрин.

Характерная особенность русского пейзажа есть уже у первого, по существу, русского пейзажиста Венецианова. Она есть и в ранней весне Васильева. Она мажорно сказалась в творчестве Левитана. Это непостоянство и зыбкость времени — черта, как бы соединяющая людей России с ее пейзажами.

Но не стоит увлекаться. Национальные черты нельзя преувеличивать, делать их исключительными. Национальные особенности — это только не-

которые акценты, а не качества, отсутствующие у других. Национальные особенности сближают людей, заинтересовывают людей других национальностей, а не изымают людей из национального окружения других народов, не замыкают народы в себе. Народы — это не окруженные стенами сообщества, а гармонично согласованные между собой ассоциации. Поэтому если я говорю о том, что свойственно русскому пейзажу или русской поэзии, то эти же свойства, но, правда, в какой-то иной степени, свойственны и другим странам и народам. Национальные черты народа существуют не в себе и для себя, а для других. Они выясняются только при взгляде со стороны и в сравнении, поэтому должны быть понятны для других народов, они в какой-то другой аранжировке должны существовать и у иных.

Если я говорю сейчас о том, что русский художник особенно чуток к изменениям годовым, суточным, к атмосферным условиям и почему, то сразу же на память приходит великий французский художник К. Моне, писавший лондонский мост в тумане, или Руанский собор, или один и тот же стог сена при разной погоде и в разное время дня. Эти «русские» черты Моне отнюдь не отменяют сделанных мною наблюдений, они лишь говорят, что русские черты в какой-то мере являются чертами общечеловеческими. Различие в степени.

Относится ли сказанное только к реалистической живописи XIX и начала XX века, например к живописцам круга «Мира искусства»? Я очень ценю живопись различных направлений, но должен сказать что «искусство чистой живописи», какой мне представляется живопись «Бубнового валета», «Ослиного хвоста», «Голубого рыцаря» и прочего, меньше связано с национальными чертами того типа, о котором я только что говорил, и все ж таки связано с русским «материальным фольклором» — с искусством вышивки, даже вывески, глиняной игрушки и вообще игрушки, поскольку в этой живописи много игрового момента, много выдумки, вымысла. Выверт для этого искусства похвала, потому что оно насквозь озорное и веселое. Не случайно это искусство требовало выставок, было так связано с шумными вернисажами. Его надо было демонстрировать на большой публике, оно должно было поражать и возбуждать толки. В русской культуре начала XX века вообще было много маскарадного и театрального, что так хорошо подчеркнуто Ахматовой в «Поэме без героя».

Природа других стран

Я уже давно чувствую, что пора ответить на вопрос: а разве у других народов нет такого же чувства природы, нет союза с природой? Есть, разумеется! И я пишу не для того, чтобы доказать превосходство русской природы над природой других народов. Но у каждого народа свой союз с природой.

Для того чтобы провести сравнение разных созданных совместными усилиями людей и стихий ландшафтов, надо, как мне кажется, побывать на Кавказе, в Средней Азии, а также в Испании, Италии, Англии, Шотландии,

Норвегии, Болгарии, Турции, Японии, Египте. По фотографиям и по пейзажной живописи судить о природе нельзя.

Из всех перечисленных мною краев и стран я смогу поверхностно судить только о Кавказе и еще об Англии, Шотландии, Болгарии. И в каждой из этих «этноприрод» свои, своеобразные взаимоотношения природы и человека — всегда трогательные, всегда волнующие, свидетельствующие о чем-то очень духовно высоком в человеке, вернее, в народе.

Сельскохозяйственный труд, как и в России, формировал собой природу Англии. Но природа эта создавалась не столько земледелием, сколько овцеводством. Поэтому в ней так мало кустов и такие хорошие газоны. Скот «выщипывал» пейзаж, делал его легко обозримым: под пологом деревьев не было кустов и было далеко видно. Англичане сажают деревья по дорогам и дорожкам, а между ними оставляют луга и лужайки. Не случайно скот был непременной принадлежностью пейзажных парков и английской пейзажной живописи. Это заметили и в России. И даже в русских царских пейзажных садах, вкус к которым был принесен в Россию из Англии, ставились молочни и фермы, паслись коровы и овцы.

Англичане любят парки почти без кустов, любят оголенные берега рек и озер, где граница воды и земли создает четкие и плавные линии, любят «уединенные дубы» или группы старых деревьев, боскеты, стоящие среди лужаек как гигантские букеты.

В пейзажах Шотландии, в Хайленде, которые многие считают (признаюсь, и я тоже) красивейшими, поражает необыкновенная лаконичность лирического чувства. Это почти обнаженная поэзия. И не случайно там родилась одна из лучших мировых поэзий — английская «озерная школа». Горы, поднявшие на свои мощные склоны луга, пастбища овец, а вслед за ними и людей, внушают какое-то особое доверие. И люди доверили себя и свой скот горным полям, оставили скот без хлева и укрытия. В горах пасутся коровы с необыкновенно теплой и густой шерстью, привыкшие к ночному холоду и горной подоблачной сырости, овцы, дающие лучшую в мире шерсть и умеющие ночевать, сбившись в гурты, ходят люди, которые носят простые килты, чтобы их было удобно распрямить и высушить перед кострами, и пледы, которые не менее удобно сушить перед кострами и кутаться в них в сырые ночи. Поля перегорожены хайками — изгородями из камней. Их строили терпеливые руки. Шотландцы не хотели строить их из материала иного, чем родные горы. Поэтому каменные хайки — такая же часть природы, как и наши северные изгороди из жердей. Только ритм в них иной.

В Болгарии в характере взаимоотношения природы и человека есть одна удивительная черта: черта их взаимообращенности друг к другу, взаимооткрытости. Эта черта еще слабо выражена в первой столице Болгарии — Плиске. В основе названия города Плиска лежит тот же корень, что и в основе имени одного из старейших городов России — Пскова (в древности это «Плесков» — «побратим» именем с Плиской). Оба города расположены на ровном, п л о с к о м месте, от чего и получили свои имена. В остатках великолепного дворца в Плиске, его стен, дорог Плиски и мостовых лежат большие каменные блоки. Своею монументальностью, тяжестью эти каменные блоки как бы утверждают могучие горизонтали окружающего пространства. Болгары, основывая Плиску, только что перешли от кочевой жизни к оседлой. В Плиске они «бросили якорь», закрепились на равнине, перестали кочевать, но еще любили кочевую жизнь, от которой хотели оторваться, любили эту

равнину. Они дали скоту, коням пастбища, а сами укрылись за стенами из гигантских камней. Плиска остановила движение, приведшее их с Волги и Северного Кавказа на Балканы.

Вторая столица Болгарии — Преслав расположена иначе: в огромной чаше окружающих гор. В центре чашевидной долины знаменитая Круглая церковь. Окружающие горы любуются Преславом с его центром — Круглой церковью, а Преслав любуется могучей оградой окружающих его лесистых гор.

Еще своеобразнее и сильнее эта взаимообращенность природы и человека в третьей столице — Болгарии — Велико-Тырнове. Велико-Тырново своими основными районами расположен на высоких холмах — таковы два важнейших — Ца́ревец с неприступной крепостью и Трапе́зица с многочисленными церквами и монастырями. А между холмами сложными петлями вьется Янтра, повторяющая в своих водах дрожащую красоту города. А над всем этим сложным взаимоотношением гор, города и реки высятся еще более высокие горы. Одну из них тырновцы окрестили названием Момина крепость: Девичья крепость — крепость, которую могли бы защищать и девушки,— настолько она сама по себе неприступна. Гора как город, город как горы... Горы и города слиты в единство до неразличимости, как бы живут вместе. Горы вознесли болгар на свои могучие вершины. Не только приняли своих обитателей, но подняли и восславили.

Даже сравнительно новые, «возрожденческие» города Болгарии такие же — союзные природе. Один из них — Копривщица. Копривщица — город «первой пушки». Здесь началось освободительное восстание против многовекового османского ига. Восстание это было поддержано самой природой — окружающими Копривщицу горами и темными лесами. И посмотрите: в каком союзе живут здесь до сих пор город, лес и горы. В центре города среди двухэтажных типично болгарских домов живут темные могучие необыкновенно высокие лесные ели. Это лес вошел в город... А из каждого дома видны горные луга со стадами овец; видна окружающая город местность; именно из к а ж д о г о (разумеется, старого, ибо современные архитекторы этого не понимают) дома. Дело в том, что болгары изобрели удивительные дома. Этажи в этих домах поставлены свободно друг к другу, и второй, жилой этаж повернут всегда так, чтобы из его окон открывалась перспектива улицы и был вид на окружающую город природу: в горных — на горы, в приморских — на море. С высоким художественным смыслом повторяется в домах, оградах и воротах плавная линия — «кобылица» (коромысло), как бы вторящая линии болгарских гор.

Может быть потому, что замечательный болгарский архитектор XIX века Колю Фичето нигде не учился, он так по-своему и так по-народному, по-болгарски понимал архитектуру. Артихектура для него была продолжением природы и быта людей. Арки его мостов не только описывают вместе со своим отражением в воде идеальные эллипсы, овалы, круги, но и с удивительной плавностью переходят в своды устоев моста, а колонны его других строений не столько «несут» над собою своды, сколько просто и дружелюбно их «дорисовывают».

Сколько вообще мира, тишины и спокойствия в любой архитектуре мира, как мало в народной архитектуре модного сейчас «брутализма» и урбанистической агрессивности!

Обратимся к природе нашего родного Закавказья.

В Грузии человек ищет защиты у мощных гор, иногда тянется за ними

(в башнях Сванетии), иногда противостоит горным вертикалям горизонталями своих жилищ. Но самое главное — в Грузии природа так огромна, что она уже не в простом союзе с человеком, она мощно ему покровительствует, обнимает его, вдыхает в него богатырский дух.

О Грузии писали многие. Не буду перечислять великих русских поэтов XIX века, но о советских поэтах напомню: П. Антокольский, Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Н. Заболоцкий, О. Мандельштам, А. Межиров, Ю. Мориц, Б. Пастернак, А. Тарковский и другие. Но чтобы представить себе отношения природы и человека в Грузии, приведу одно стихотворение Н. Заболоцкого. Да не посетует на меня читатель за то, что я процитирую это стихотворение полностью. Перечесть стихи Н. Заболоцкого всегда большое удовольствие.

НОЧЬ В ПАСАНАУРИ

Сияла ночь, играя на пандури,
Луна плыла в убежище любви,
И снова мне в садах Пасанаури
На двух Арагвах пели соловьи.

С Крестового спустившись перевала,
Где в мае снег и каменистый лед,
Я так устал, что не желал нимало
Ни соловьев, ни песен, ни красот.

Под звуки соловьиного напева
Я взял фонарь, разделся догола,
И вот река, как бешеная дева,
Мое большое тело обняла.

И я лежал, схватившись за каменья,
И надо мной, сверкая, выл поток,
И камни шевелились в исступленье
И бормотали, прыгая у ног.

И я смотрел на бледный свет огарка,
Который колебался вдалеке,
И с берега огромная овчарка
Величественно двигалась к реке.

И вышел я на берег, словно воин,
Холодный, чистый, сильный и земной,
И гордый пес, как божество, спокоен,
Узнав меня, улегся предо мной.

И в эту ночь в садах Пасанаури,
Изведав холод первобытных струй,
Я принял в сердце первый звук пандури,
Как в отрочестве — первый поцелуй.

Природа Грузии и в самом деле мощно принимает человека и делает его сильным, величественным и рыцарственным.

Свежие впечатления от природы Армении заставляют меня несколько подробнее сказать и о ее пейзажах. Многовековая культура Армении победила даже горы. «Хоровод веков»,— пишет Андрей Белый в «Ветре с Кавказа». «Впаяны древности в почву; и камни природные — передряхлели скульптуру;

и статуи, треснувши, в землю уйдя, поднимают кусты; не поймешь, что ты видишь: природа ль, культура ль? Вдали голорозовый, желто-белясый и гранный хребетик сквозным колоритом приподнят над Гегаркуником, Севан отделяющим; почвы там храмами выперты, храмы — куски цельных скал»[1].

Не могу удержаться, чтобы не привести из той же книги отрывок, где Белый описывает свои первые впечатления от Армении, полученные им ранним утром из окна вагона:

«Армения!

Верх полусумерки рвет; расстояние сложилось оттенками угрюмо-синих, сереющих, бирюзоватых ущелий под бледною звездочкой: в дымке слабеющей зелень; но чиркнул под небо кривым лезвием исцарапанный верх, как воткнувшийся нож; и полезла гребенкой обрывин земля, снизу синяя, в диких разрывинах; будто удары ножей, вылезающих из перетресканных камневоротов — в центр неба; мир зазубрин над страшным растаском свисающих глыб, где нет линий без бешенства!»[2]

Что это не мимолетное впечатление Белого, показывает тот факт, что на него откликнулся и сам гениальный армянский живописец Мартирос Сарьян, а что может быть авторитетнее именно такого отклика художника. В своем письме Белому, вызванном впечатлением от очерка «Армения», Сарьян пишет, что он хранит воспоминание о тех днях, когда они вместе «разъезжали или расхаживали по этой обожженно-обнаженной нагорной стране, любуясь громоздящимися камнями голубовато-фиолетового цвета, ставшими на дыбы в виде высочайших вершин Арарата и Арагаца»[3].

Я не смею поправлять Сарьяна, и все-таки порой мне кажется, что пейзаж Восточной Армении суровее, чем на картинах Сарьяна. Безлесные горы, изборожденные дождями, ручьями и полосами виноградников, горы, с которых скатывались камни, густые плотные краски: это природа, точно впитавшая в себя народную кровь. Выше я писал, что для русской природы, очеловеченной крестьянином, очень характерен ритм вспаханной земли, ритм изгородей и бревенчатых стен. Ритм характерен и для пейзажей Армении, но в Армении он другой. Огромное впечатление оставляет картина того же Сарьяна «Земля» (1969). Она вся состоит из полос, но полос ярких, волнистых — совсем других, чем ритм, созданный человеком в России.

Этот же волнообразный ритм схвачен и в картинах замечательнейшего армянского художника Минаса Аветисяна. В его картине «Родители» (1962) отец и мать изображены на фоне армянского пейзажа. Поразительно, что ритм армянской природы как бы повторяется в душевном ритме людей. Даже горы в картине «Родители» стали волнами трудового ритма.

Трудовые ритмы Армении удивительно разнообразны, как разнообразен и труд ее народа. В картине Сарьяна «Полуденная тишина» (1924) на землю как бы наложены квадраты возделанных полей, словно расстелены разноцветные ковры для просушки. Ритмы гор и полей сочетаются и одновременно противостоят друг другу.

Совсем свободен и легок ритм в картине Акопа Кождояна «Араратская долина». Горы в ней — волны, полосы долины — только легкая морская зыбь.

---

[1] Цит. по ст: Гончар Н. А. Путевая проза Андрея Белого и его очерк «Армения» (сб. «Литературные связи», т. 2.— Русско-армянские литературные связи. Исследования и материалы. Ереван, 1977, с. 156).

[2] Там же, с. 154.

[3] Цит. по ст: Гончар Н. А. Путевая проза Андрея Белого и его очерк «Армения», с. 163.

О богатстве природы Армении свидетельствует и то, что в живописи она отражена удивительно разнообразно. Один и тот же художник видел ее по-разному. И вместе с тем мы всегда скажем: это Армения:

Страна москательных пожаров
И мертвых гончарных долин...

Раз уж пришли на память эти строки О. Мандельштама, то невозможно не вспомнить и стихи Валерия Брюсова, обращенные к армянам:

Да! Вы поставлены на грани
Двух разных спорящих миров,
И в глубине родных преданий
Вам слышны отзвуки веков.

Все бури, все волненья мира,
Летя, касались вас крылом,—
И гром глухой походов Кира,
И Александра бранный бой...

Как это хорошо! — величие народа в касании к мировым событиям! В этой страдальческой причастности дух армянского народа:

Гранился он, как твердь алмаза,
В себе все отсветы храня:
И краски нежных роз Шираза,
И блеск Гомерова огня.

Даже бедный пастушеский посох у подножия Арарата становится похож на скипетр царя:

Внизу на поле каменистом
Овец ведет пастух седой,
И длинный посох, в свете мглистом,
Похож на скипетр вековой.

И в том же ключе говорит об армянской природе Николай Тихонов:

В ладонях гор, расколотых
Стозвучным ломом времени,
Как яблоко из золота,
Красуется Армения...

Золотое яблоко, т. е. царский знак — «держава», и скипетр — все это вручено русскими поэтами многострадальной и своею значительностью счастливой Армении. Это ли не царский подарок?

Уже после того как я отослал текст этой книжки в издательство, я прочел «Из дневниковых записей искусствоведа» М. В. Алпатова[1]. Написанное им там о Греции удивительным образом продолжает, разнообразя, то, что я пишу выше о Шотландии, Грузии и Армении. Позволю себе с его разрешения привести некоторые из этих записей.

«Страна не имеет ясно подчеркнутой доминанты. В этом Греция решительно отличается от маленькой Армении, которую отовсюду осеняет белоснежная вершина Арарата, от Сицилии с ее огнедышащей Этной. У подножия Парнаса можно признать его очень величественным и огромным. Но стоит удалиться от него, и уже он включается в цепь других гор, другие вершины

[1] См.: Декоративное искусство, 1982, № 11, с. 43—45.

начинают преобладать, оттеснять его. Здесь постоянно происходит смещение осей, одно уступает место другому, большое отступает, малое выходит. Силуэты гор то складываются, то расступаются, то складываются вновь. Трудно передать словами, как прекрасен этот хоровод горных вершин, когда двигаешься по дорогам Греции. Горы вздымаются над морем. Море со своей стороны врезается в материк. Здесь воочию видишь, что значат слова из учебника географии «изрезанные берега». Горы уносятся в небо. Море отражает небесную синеву. Горы отгораживают одно от другого. Море их связывает вновь. Недаром самое слово море — «понтос» по-гречески означало — дорога.

«При ясном сиянии дня здесь явственно звучит мерное дыхание земной коры. К ним обращается все вновь и вновь как к чему-то возвышенному, чистому, прекрасному своей отрешенностью от обыденной прозы жизни».

«Вулканы говорят о внутренней жизни архипелага. Карта страны со сползающими с севера к югу горными кряжами позволяет уловить общий его ритм. Но даже в том, что может заметить глаз мало сведущего в географии путешественника, ясно проступает своя последовательность и закономерность. Горы обламываются или оседают, и тогда на поверхности их образуются глубокие кольцевые складки. Иногда из-под скудных кустарников выпирают острые светлые камни, словно это оскал зубов Дракона, посеянных Кадмом и превратившихся в воинов».

«Греки обладали редким даром образного выражения плодов своих раздумий. Периклу принадлежит метафорическое выражение, величие которого постигаешь на Марафонском поле: «Могилою людей служит вся земля».

«Греческая природа помогала человеку создавать формы общежития. Море, бухты, заливы, горы разделяли, но и помогали выработке самостоятельности каждой местной общине. Но преграды эти не были непроходимыми: люди переплывали через моря, переходили горы, каждый крестьянин жил, укрытый за горами, а в трудные дни вторженья врагов они завлекали их в узкую теснину и уничтожали их несмотря на их превосходство. В стране, изрезанной морем, раздробленной горными кряжами, возникали небольшие государства, но в смертельной опасности они могли позабыть взаимные претензии, объединить свои силы и дружно двинуться на врага. Здесь действовали и кровные связи, и общность интересов, и общий язык, но не последним доводом было и то, что человек всю страну видел как бы накрытой одним голубым небосводом. В Греции человек никогда не чувствует себя раздавленным необъяснимой тайной мира».

Народ не создается природой, но он живет там, где природа больше всего созвучна его характеру. М. В. Алпатов приводит слова Гегеля о том, что природой Греции нельзя объяснить расцвет греческой культуры. Недаром она не изменила своего характера во времена турецкого владычества и позднее (а все ж таки изменила — леса сменились кустарниками.— *Д. Л.*), но не породила второго Гомера.

Природа не порождает Гомеров, но, чтобы культура расцвела, они должны быть в союзе и взаимопомощи...

Я жалею, что мало бывал в республиках нашей страны и не могу написать о каждой. Каждая обладает своей красотой — надо только увидеть. Но и из приведенных примеров ясно следующее: пейзаж страны — это такой же элемент национальной культуры, как и все прочее. Не хранить родную природу — это то же, что не хранить родную культуру, не любить родителей. Она — выражение души народа.

Ансамбли памятников искусства

Каждая страна — это ансамбль искусств. Грандиозным ансамблем культур или памятников культуры является и Советский Союз. Города в Советском Союзе, сколь бы они ни разнствовали между собой, не обособлены друг от друга. Москва и Ленинград не просто не похожи друг на друга — они *контрастируют* друг другу и, следовательно, взаимодействуют. Не случайно они связаны железной дорогой столь прямой, что, проехав в поезде ночь без поворотов и только с одной остановкой и попадая на вокзал в Москве или Ленинграде, вы видите почти то же вокзальное здание, которое вас провожало вечером: фасады Московского вокзала в Ленинграде и Ленинградского в Москве одинаковые. Но одинаковость вокзалов подчеркивает резкое несходство городов, несходство не простое, а дополняющее друг друга.

Даже предметы искусства в музеях не просто хранятся, а составляют некоторые культурные ансамбли, связанные с историей городов и страны в целом. Состав музеев далеко не случаен, хотя в истории их собраний и немало отдельных случайностей. Недаром, например, в музеях Ленинграда так много голландской живописи (это Петр I), а также французской (это петербургское дворянство XVIII и начала XIX века).

А посмотрите в других городах. В Новгороде стоит посмотреть иконы. Это третий по величине и ценности центр древнерусской живописи.

В Костроме, Горьком и Ярославле следует смотреть русскую живопись XVIII и XIX веков (это центры русской дворянской культуры), а в Ярославле еще и «волжскую» XVII века, которая представлена здесь так, как нигде.

Но если вы возьмете всю нашу страну, вы удивитесь разнообразию и своеобразию городов и хранящейся в них культуры: в музеях и частных собраниях, да и просто на улицах ведь почти каждый старый дом — драгоценность. Одни дома и целые города дóроги своей деревянной резьбой, другие — удивительной планировкой, набережными, бульварами (Кострома, Ярославль), третьи — каменными особняками, четвертые — затейливыми церквами, пятые — «небрежно» наброшенной на холмы сетью улиц.

Но многое их объединяет. Одна из самых типичных черт русских городов — их расположение на высоком берегу реки. Город виден издалека и как бы втянут в движение реки: Великий Устюг, волжские города, города по Оке. Есть такие города и на Украине: Киев, Новгород-Северский, Путивль. Это традиции Древней Руси — Руси, от которой пошли Россия, Украина, Белоруссия, а потом и Сибирь с Тобольском и Красноярском...

Город на высоком берегу реки в вечном движении. Он «проплывает» мимо реки. И это тоже присущее Руси ощущение родных просторов.

Страна — это единство народа, природы и культуры.

Сохранить разнообразие наших городов и сел, сохранить в них историческую память, их общее национально-историческое своеобразие — одна из важнейших задач наших градостроителей. Вся страна — это грандиозный

культурный ансамбль. Он должен быть сохранен в своем поразительном богатстве. Воспитывает не только историческая память в своем городе и в своем селе — воспитывает человека его страна в ее целом. Сейчас люди живут не только в своем «пункте», но во всей стране и не своим веком только, но всеми столетиями своей истории.

Сады и парки

Взаимодействие человека с природой, с ландшафтом не всегда длится столетиями и тысячелетиями и не всегда носит «природно-бессознательный» характер. След в природе остается не только от сельского труда человека, и труд его не только формируется природой: иногда человек сознательно стремится преобразовать окружающий его ландшафт, сооружая сады и парки.

Сады и парки создают своего рода «идеальное» взаимодействие человека и природы, «идеальное» для каждого этапа человеческой истории, для каждого творца садово-паркового произведения.

И здесь мне хотелось бы сказать несколько слов об искусстве садов и парков, которое не всегда до конца понималось в своей основе его истолкователями, специалистами (теоретиками и практиками садоводства).

Садово-парковое искусство — наиболее захватывающее и наиболее воздействующее на человека из всех искусств. Такое утверждение кажется на первый взгляд странным. С ним как будто бы трудно согласиться. Почему, в самом деле, садово-парковое искусство должно быть более действенным, чем поэзия, литература в целом, философия, театр, живопись и т. д.? Но вдумайтесь беспристрастно и вспомните собственные впечатления от посещения наиболее дорогих нам всем исторических парков, пусть даже и запущенных.

Вы идете в парк, чтобы отдохнуть — без сопротивления отдаться впечатлениям, подышать чистым воздухом с его ароматом весны или осени, цветов и трав. Парк окружает вас со всех сторон. Вы и парк обращены друг к другу: парк открывает вам все новые виды — поляны, боскеты, аллеи, перспективы,— и вы, гуляя, только облегчаете парку его показ самого себя. Вас окружает тишина, и в тишине с особой остротой возникает шум весенней листвы вдали или шуршание опавших осенних листьев под ногами, или слышится пение птиц или легкий треск сучка вблизи, какие-то звуки настигают вас издали и создают особое ощущение пространства и простора. Все чувства ваши раскрыты для восприятия впечатлений, и смена этих впечатлений создает особую симфонию — красок, объемов, звучаний и даже ощущений, которые приносят вам воздух, ветер, туман, роса...

Но при чем же тут человек? — спросят меня. Ведь это то, что приносит вам природа, то, что вы можете воспринять, и даже с большей силой, в лесу, в горах, на берегу моря, а не только в парке.

Нет, сады и парки — это тот важный рубеж, на котором объединяются человек и природа. Сады и парки одинаково важны — и в городе и за пределами города. Не случайно так много чудеснейших парков в родном нашем Подмосковье. И не случайно столько помещиков вконец разорилось, устраивая парки в своих усадьбах. Нет ничего более захватывающего, увлекающего,

волнующего, чем вносить человеческое в природу, а природу торжественно, «за руку» вводить в человеческое общество: смотрите, любуйтесь, радуйтесь.

И чем более дика природа, тем острее и глубже ее сообщество с человеком. Вот почему такое огромное впечатление производят Крымский парк в Алупке, устраивавшийся Воронцовым, и выборгский парк «Мон репо» в типично русском имении баронов Николаи. В Алупке над парком громоздятся и «показывают себя» горы, а под парком бьются о гигантские камни волны Черного моря. В парке «Мон репо» на голых красных гранитных скалах растут сосны, открываются бесконечные виды на шхеры с их плывущими в водной голубизне островами. Но и в том и другом парке при всей оссиановской грандиозности природы всюду видна разумная рука человека и уютные дворцы хозяев приветливо венчают окружающую первозданную дикость ландшафта.

Не случайно и Петр каналами подводил море к своим загородным и парковым дворцам — в Новом Петергофе, Стрельне, Ораниенбауме. Каналы соединяли дворцы и парки с морем не только водой, но и воздухом — открывавшейся на море перспективой — и вводили морскую воду в окружение деревьев и любимых Петром душистых цветов.

Есть и еще одна сфера, которую человеку дарит по преимуществу парк, или даже только парк. Это сфера исторического времени, сфера воспоминаний и поэтических ассоциаций.

Исторические воспоминания и поэтические ассоциации — это и есть то, что больше всего очеловечивает природу в парках и садах, что составляет их суть и специфику. Парки ценны не только тем, что в них есть, но и тем, что в них было. Временна́я перспектива, которая открывается в них, не менее важна, чем перспектива зрительная. «Воспоминания в Царском Селе» — так назвал Пушкин лучшее из наиболее ранних своих стихотворений.

Отношение к прошлому может быть двух родов: как к некоторому зрелищу, театру, представлению, декорации и как к документу. Первое отношение стремится воспроизвести прошлое, возродить его зрительный образ. Второе стремится сохранить прошлое хотя бы в его частичных остатках. Для первого в садово-парковом искусстве важно воссоздать внешний, зрительный образ парка или сада таким, каким его видели в тот или иной момент его жизни. Для второго важно ощутить свидетельство времени, важна документальность. Первое говорит: таким он выглядел; второе свидетельствует: это т о т с а м ы й, он был, может быть, не таким, но это подлинно т о т, это т е липы, т е садовые строения, т е самые скульптуры. Второе отношение терпимее к первому, чем первое ко второму. Первое отношение к прошлому требует вырубить в аллее старые деревья и насадить новые: «так аллея выглядела». Второе отношение сложнее: сохранить все старые деревья, продлить им жизнь и подсадить к ним на места погибших молодые. Две-три старые дуплистые липы среди сотни молодых будут свидетельствовать: это та самая аллея — вот они, старожилы. А о молодых деревьях не надо заботиться: они растут быстро, и скоро аллея приобретет прежний вид.

Но в двух отношениях к прошлому есть и еще одно существенное различие. Первое будет требовать: только одна эпоха — эпоха создания парка, или его расцвета, или чем-либо знаменательная. Второе скажет: пусть живут все эпохи, так или иначе знаменательные, ценна вся жизнь парка целиком, ценны воспоминания о различных эпохах и о различных поэтах, воспевших

эти места,— и от реставрации потребует не восстановления, а сохранения. Первое отношение к паркам и садам открыл в России Александр Бенуа с его эстетским культом времени императрицы Елизаветы Петровны и ее Екатерининского парка в Царском. С ним поэтически полемизировала Ахматова, для которой в Царском была важна не Елизавета, а Пушкин: «Здесь лежала его треуголка и растрепанный том Парни».

Да, вы поняли меня правильно: я на стороне второго отношения к памятникам прошлого. И не только потому, что второе отношение шире, терпимее и осторожнее, менее самоуверенно и оставляет больше природе, заставляя уважительно отступать внимательного человека, но и потому еще, что оно требует от человека бóльшего воображения, бóльшей творческой активности. Восприятие памятника искусства только тогда полноценно, когда оно мысленно воссоздает, творит вместе с творцом, исполнено историческими ассоциациями.

Первое отношение к прошлому создает, в общем-то, учебные пособия, учебные макеты: смотрите и знайте. Второе отношение к прошлому требует правды, аналитической способности: надо отделить возраст от объекта, надо вообразить, как тут было, надо в некоторой степени исследовать. Это второе отношение требует бóльшей интеллектуальной дисциплины, бóльших знаний от самого зрителя: смотрите и воображайте. И это интеллектуальное отношение к памятникам прошлого рано или поздно возникает вновь и вновь. Нельзя убить подлинное прошлое и заменить его театрализованным, даже если театрализованные реконструкции уничтожили все документы, но место осталось: здесь, на этом месте, на этой почве, в этом географическом пункте, было — он был, оно, что-то памятное, произошло.

И еще одно попутное замечание о садах. Стремиться к восстановлению садов в их первоначальном виде невозможно по одной причине: сад неразрывно связан с садовым бытом и социальным устройством общества. В Царском Селе работало 400 садовников, в многочисленных оранжереях разводились редчайшие цветы, стволы деревьев мылись мылом, а для гуляний в Петергофском саду придворные обязаны были носить так называемые «петергофские платья» темно-зеленого цвета с серебряным шитьем. Темно-зеленый цвет — чтобы гармонировал с цветом деревьев, а серебро — чтобы гармонировало с белой пеною фонтанов. Имитировать первоначальный придворный облик садов без двора и дворцовых приемов в садах — совершенно невозможно: слишком тесно был связан сад и садовый быт с классовым строением общества.

Театрализация старины захлестывает собой мемориальные квартиры-музеи. В подлинные места вносят мебель и вещи под стиль эпохи, и среди них теряются и прячутся подлинные предметы. Их не только не узнаю́т посетители, но они часто путаются с вещами того же времени, будь то чернильница или шкаф. Купили книжный шкаф точно такой, как и подлинный, купили для ансамбля, а через некоторое время спутали подлинный с купленным и не знают, какой из двух принадлежал владельцу мемориальной квартиры. Этот случай не выдумка. И кроме того, подбирая для мемориальной квартиры вещи «той эпохи», разве мы не ошибаемся уже в самом принципе такой подборки? Разве обязательно было писателю или политическому деятелю жить среди вещей только своего времени? Разве не могло быть в его доме, в его квартире вещей его детства или просто старых? И кто может ручаться за то, что эпоха восстановлена правильно; кто может ручаться за то, что пра-

вильно восстановлены индивидуальная манера расставлять вещи, домашний обиход, характер которого определяется множеством слагаемых?

Театральность проникает и в реставрации памятников архитектуры. Подлинность теряется среди предположительно восстановленного. Реставраторы доверяют случайным свидетельствам, если эти свидетельства позволяют восстановить этот памятник архитектуры таким, каким он мог бы быть особенно интересным. Так восстановлена в Новгороде Евфимиевская часозвоня: получился маленький храмик на столпе. Нечто совершенно чуждое Новгороду и XV веку.

Сколько памятников было погублено реставраторами в XIX веке вследствие привнесения в них элементов эстетики нового времени. Реставраторы добивались симметрии там, где она была чужда самому духу стиля — романскому или готическому,— пытались заменить живую линию геометрически правильной, высчитанной математически, и т. п. Так засушены и Кельнский собор, и Нотр-Дам в Париже, и аббатство Сен-Дени. Засушены, законсервированы были целые города в Германии — особенно в период идеализации немецкого прошлого.

Все это я пишу не зря. Отношение к прошлому формирует собственный национальный облик. Ибо каждый человек — носитель прошлого и носитель национального характера. Человек — часть общества и часть его истории. Не сохраняя в себе самом память прошлого, он губит часть своей личности. Отрывая себя от национальных, семейных и личных корней, он обрекает себя на преждевременное увядание. А если заболевают беспамятностью целые слои общества? Тогда это неизбежно сказывается и в нравственной области, на их отношениях к семье, детям, родителям и к труду, именно к труду и трудовым традициям.

Ни один принцип не может проводиться бездумно и механически. В пушкинских местах Псковской области — в селах Михайловском, Тригорском, Петровском — частичная театрализация необходима. Исчезнувшие дома и избы были там органическими элементами пейзажа. Без дома Осиповых-Вульф в Тригорском нет Тригорского. И восстановление этого дома, как и домов в Михайловском и Петровском, не уничтожает подлинности. Рубить пришлось лишь кусты и молодые деревья, а не старые. В этом принципиальное различие между восстановлением старых домов в михайловских местах и омоложением парков в городе Пушкине, выполненным несколько лет назад. В пушкинских местах восстанавливали, в Пушкине вырубали...

В самом себе можно театрализовать ту или иную сторону. Можно носить бороду и поддевку а-ля рюсс, стричься в кружок, превратить в зрелище самого себя. Но возможно и другое отношение к своей национальности: ценить в себе подлинную связь со своим селом, городом и страной, сохранять и развивать в себе благую сторону, добрые национальные черты своего народа, развивать глубокую ментальность, чутье языка, знание истории, родного искусства и прочее. Вся историческая жизнь своей страны, а на более высоких ступенях — развитие и всего мира должны быть введены в круг духовности человека.

А при чем тут сад и парк, с которых я начал эту заметку? Да при том, что культура прошлого и настоящего — это тоже сад и парк. Недаром «золотой век», «золотое детство» человечества — средневековый рай — всегда ассоциировались с садом. Сад — это идеальная культура, культура, в которой облагороженная природа идеально слита с добрым к ней человеком.

Не случайно Достоевский мечтал превратить самые злачные места Петербурга в сад: соединить Юсуповский сад на Садовой улице с Михайловским у Михайловского замка, где он учился, засадить Марсово поле и соединить его с Летним садом, протянуть полосу садов через самый бойкий торговый центр и там, где жила старуха-процентщица и Родион Раскольников, создать своего рода рай на земле. Для Достоевского было два полюса на земле — Петербург у Сенной и природа в духе пейзажей Клода Лоррена, изображающих золотой век,— Лоррена, которого он очень любил за райскую идеальность изображаемой жизни.

Заметили ли вы, что самый светлый эпизод «Идиота» Достоевского — свидание князя Мышкина и Аглаи — совершается в Павловском парке утром? Это свидание нигде в ином месте и не могло произойти. Именно для этого свидания нужен Достоевскому Павловск. Вся эта сцена как бы вплетена в приветливый пейзаж Павловска.

Самый счастливый момент в жизни Обломова — его объяснение в любви — также совершается в саду.

В «Капитанской дочке» у Пушкина радостное завершение хлопот Маши Мироновой тоже происходит именно в «лорреновской» части Екатерининского парка. Именно там, а не в дворцовых помещениях оно только и могло совершиться.

Природа России и Пушкин

Клод Лоррен? А при чем тут, спросите, русский характер и русская природа?

Потерпите немного — и все нити сойдутся снова.

У нас примитивно представляют себе историю садово-паркового искусства: регулярный парк, пейзажный парк; второй тип парка резко сменяет собой первый где-то в 70-х годах XVIII века в связи с идеями Руссо, а в допетровской Руси были якобы только утилитарные сады: выращивали в них плоды, овощи и ягоды. Вот и все! На самом же деле история садово-паркового искусства гораздо сложнее.

В «Слове о погибели Русской земли» XIII века в числе наиболее значительных красот, которыми была дивно удивлена Русь, упоминаются и монастырские сады. Монастырские сады на Руси в основном были такими же, как и на Западе. Они располагались внутри монастырской ограды и изображали собой земной рай, эдем, а монастырская ограда — ограду райскую. В райском саду должны были быть и райские деревья — яблони или виноградные лозы (в разное время порода «райского дерева познания добра и зла» понималась по-разному), в них должно было быть все прекрасно для глаза, для слуха (пение птиц, журчание воды, эхо), для обоняния (запахи цветов и душистых трав), для вкуса (редкостные плоды). В них должно было быть изобилие всего и великое разнообразие, символизирующее разнообразие и богатство мира. Сады имели свою семантику, свое значение. Вне монастырей существовали священные рощи, частично сохранившиеся еще от языческих времен, но

освященные и «христианизированные» каким-нибудь явлением в них иконы или другим церковным чудом.

Мы имеем очень мало сведений о русских садах до XVII века, но ясно одно — что «райские сады» были не только в монастырях, но и в княжеских загородных селах. Были сады в кремлях, у горожан при всей тесноте городской застройки.

В XVII веке под голландским влиянием появляются в России сады барочного типа.

Дело в том, что сады по своему характеру вовсе не разделяются только на сады регулярные и пейзажные. Это старый искусствоведческий миф, который сейчас, в общем, развеян многочисленными исследованиями искусствоведов. Садово-парковое искусство развивается в ногу с другими искусствами и особенно в связи с развитием поэзии. Есть сады ренессансные, сады барокко, сады рококо, сады классицизма, сады романтизма. В пределах каждого великого стиля есть свои национальные особенности, а внутри национального стиля — почерк отдельных садоводов (Джон Эвелин писал в конце XVII века: «Каков садовод, таков и сад»). Есть, например, сады французского классицизма (Версальский сад, созданный Ленотром), есть сады голландского барокко.

Те многочисленные материалы о русских садах XVII века, которые опубликовал в XIX веке, но искусствоведчески не осмыслил историк И. Забелин, отчетливо свидетельствуют, что к нам в Москву с середины XVII века проник в садоводство стиль голландского барокко.

Сады в Московском Кремле делались на разных уровнях, террасами, как того требовал голландский вкус, огораживались стенами, украшались беседками и теремами. В садах устраивались пруды в гигантских свинцовых ваннах, также на разных уровнях. В прудах плавали потешные флотилии, в ящиках разводились редкостные растения (в частности, астраханский виноград), в гигантских шелковых клетках пели соловьи и перепелки (пение последних ценилось наравне с соловьиным), росли там душистые травы и цветы, в частности излюбленные голландские тюльпаны (цена на луковицы которых особенно возросла именно в середине XVII века), пытались держать попугаев и т. д. и т. п.

Барочные сады Москвы отличались от ренессансных своим ироническим характером. Их, как и голландские сады, стремились обставлять живописными картинами с обманными перспективными видами (tromp l'oeil), местами для уединения и т. д. и т. п.

Все это впоследствии Петр стал устраивать и в Петербурге. Разве что прибавились в петровских садах скульптуры, которых в Москве боялись из «идеологических» соображений: их принимали за идолов. Да прибавились еще эрмитажи — разных типов и различного назначения.

Такие же иронические сады с уклоном к рококо стали строиться в Царском Селе. Перед садовым фасадом Екатерининского дворца был разбит Голландский сад, и это свое определение — голландский — сад сохранял еще в начале XX века (в Голландке назначались свидания). Это было не только название сада, но и определение его типа. Это был сад уединения и разнообразия, сад голландского барокко, а затем и рококо с его склонностью к веселой шутке и уединению, но не философскому, а любовному. Вскоре Голландский сад, сад рококо, был окружен обширным предромантическим парком, в котором «садовая идеология» вновь обрела серьезность, где значи-

тельная доля принадлежала уже воспоминаниям — героическим, историческим и чисто личным,— где получила свое право на существование чувствительность (sensibility of gardens) и была реабилитирована изгнанная из садов барокко или пародированная в них серьезная медитативность.

Если мы обратимся от этого кратчайшего экскурса в область русского садово-паркового искусства к лицейской лирике Пушкина, то мы найдем в ней всю семантику садов рококо и периода предромантизма. Пушкин в своих лицейских стихах культивирует тему своего «иронического монашества» («Знай, Наталья! — я... монах!»), садового уединения — любовного и с товарищами. Лицей для Пушкина был своего рода монастырем, а его комната — кельей. Это чуть-чуть всерьез и чуть-чуть с оттенком иронии. Сам Пушкин в своих лицейских стихах выступает как нарушитель монашеского устава (пирушки и любовные утехи). Эти темы — дань рококо. Но есть и дань предромантическим паркам — его знаменитые стихи «Воспоминания в Царском Селе», где «воспоминания» — это памятники русским победам и где встречаются оссианические мотивы (скалы, мхи, «седые валы», которых на самом деле на Большом озере в Царском и не бывало).

Открытие русской природы произошло у Пушкина в Михайловском. Михайловское и Тригорское — это места, где Колумб русской поэзии Пушкин открыл русский простой пейзаж. Именно здесь пристали «поэтические каравеллы»[1] Пушкина. Вот почему Михайловское и Тригорское так же святы для каждого русского человека, как свято было для первых переселенцев в Америку то место берега, на которое впервые ступила нога Колумба и его испанских спутников. Хранить природу Михайловского и Тригорского мы должны со всеми деревьями, лесами, озерами и рекой Соротью с особым вниманием, ибо здесь, повторяю, совершилось поэтическое открытие русской природы.

Пушкин в своем поэтическом отношении к природе прошел путь от Голландского сада в стиле рококо и Екатерининского парка в стиле предромантизма до чисто русского ландшафта Михайловского и Тригорского, не окруженного никакими садовыми стенами и по-русски обжитого, ухоженного, «обласканного» псковичами со времен княгини Ольги, а то и раньше, то есть за целую тысячу лет. И не случайно, что именно в обстановке этой русской «исторической» природы (а история, как вы заметили уже из моих заметок, есть главное слагаемое русской природы) родились подлинно исторические произведения Пушкина — и прежде всего «Борис Годунов».

Хочу привести одну большую и исторически пространную аналогию. Вблизи дворца всегда существовали более или менее обширные регулярные сады. Архитектура связывалась с природой через архитектурную же часть сада. Так было и во времена, когда пришла мода на романтические пейзажные сады. Так было при Павле и в дворянских усадьбах XIX века, в частности и в знаменитых подмосковных. Чем дальше от дворца, тем больше естественной природы. Даже в эпоху Ренессанса в Италии за пределами ренессансных архитектурных садов существовала природная часть владений хозяина для

---

[1] Кстати, каравеллы — это тип двух из трех кораблей, на которых Колумб совершил свое открытие Америки (третий, и главный, корабль Колумба «Санта-Мария» был типа «каракка»), но в XVIII, а тем более в XIX веке каравелл не существовало. Между тем слово это вошло сейчас в моду, и каравеллами называют в Ленинграде корабль Адмиралтейского шпиля, ресторанчики, в которых подают блюда «петровской эпохи», и т. д. Каравелл ни при Петре, ни после Петра уже не могло быть.

прогулок — природа римской Кампаньи. Чем длиннее становились маршруты человека для гуляний, чем дальше он уходил от своего дома, тем больше для него открывалась природа его страны, тем шире и ближе к дому — природная, пейзажная часть его парков. Пушкин открыл природу сперва в царскосельских парках вблизи дворца и лицея, но дальше он вышел за пределы «ухоженной природы». Из регулярного лицейского сада он перешел в его парковую часть, а затем в русскую деревню. Таков пейзажный маршрут пушкинской поэзии. От сада к парку и от парка к деревенской русской природе. Соответственно нарастало и национальное и социальное видение им природы (вспомним его стихи «Деревня» с их обличением «рабства тощего»).

Изменить что-либо в Михайловском и Тригорском, да и вообще в пушкинских местах бывшей Псковской губернии (новое слово Псковщина к этим местам не идет совсем) нельзя, так же как и во всяком дорогом нашему сердцу памятном предмете. Даже и драгоценная оправа здесь не годится, так как пушкинские места — это только центр той обширной части русской природы, которую зовем Россией.

Национальный идеал и национальная действительность

А как же с концепцией русского человека у Достоевского с его, русского человека, безудержностью, метаниями из одной крайности в другую, с его «интеллектуальной истерикой», бескомпромиссностью, нелегкой для себя и других, и т. д. и т. п.?

Но тут я отвечу вопросом на вопрос: а откуда вообще взято мнение, что такова концепция русского человека у Достоевского? Что там судят о русском человеке отдельные действующие лица его произведений? Так разве можно судить по действующим лицам, по их высказываниям о взглядах автора? Мы бы повторили ошибку многих философов, писавших о мировоззрении Достоевского и отождествлявших высказывания его героев с его собственными взглядами.

Русские люди вроде Мити Карамазова, конечно, были в русской действительности, но идеалом русского человека для Достоевского был Пушкин. Об этом он твердо и ясно заявил в своей знаменитой речи о Пушкине. Для Достоевского русский человек прежде всего «всеевропеец» — человек, для которого родная и близкая вся европейская культура. Следовательно, русский для Достоевского — человек высокого интеллекта, высоких духовных запросов, приемлющий все европейские культуры, всю историю Европы и вовсе внутренне не противоречивый и не такой уж загадочный.

Если для Достоевского идеалом русского был гений, и при этом такой гений, как Пушкин, так ведь это и понятно: самое ценное в народе — в его вершинах.

Сказать можно еще многое, многое еще надо обдумать, раскрыть. Идеал ведь вряд ли был один, одинаковый у всех. Для одних, кто меньше задумывался над судьбами и особенностями великого народа, типичный образец

всего русского — это ухарь купец Никитина, для других — Стенька Разин (не реальный Степан Разин, а Стенька Разин из известной песни Д. Н. Садовникова «Из-за острова на стрежень»), для третьих — это радищевский молодец из главы «София» его «Путешествия из Петербурга в Москву» и т. д. А я говорю — не надо забывать о русской природе и о человеке в природе: это крестьяне Венецианова, русские пейзажи Мартынова, и Васильева, и Левитана, и Нестерова, бабушка из «Обрыва», гневный и все ж таки добрый Аввакум, милый, умный и удачливый Иванушка-дурачок, а где-то на втором плане картин Нестерова его мерцающие вдали тонкие белые стволы берез... Все вместе, всё вместе: природа и народ.

Мне кажется, следует различать национальный идеал и национальный характер. Идеал не всегда совпадает с действительностью, даже всегда не совпадает. Но национальный идеал тем не менее очень важен. Народ, создающий высокий национальный идеал, создает и гениев, приближающихся к этому идеалу. А мерить культуру, ее высоту мы должны по ее высочайшим достижениям, ибо только вершины гор возвышаются над веками, создают горный хребет культуры.

Русские национальные черты в русских людях стремились найти и воплотить в своих творениях и Аввакум, и Петр I, и Радищев, и Пушкин, и Достоевский, и Некрасов, и Стасов, и Герцен, и Горький, и многие, многие другие. Находили — и все, кстати, по-разному. Это не умаляет значения их поисков. Потому не умаляет, что все эти писатели, художники, публицисты вели за собой людей, направляли их поступки. Вели иногда в различных направлениях, но *уводили* всегда от одного общего: от душевной узости и отсутствия широты, от мещанства, от «бескомпромиссной» погруженности в повседневные заботы, от скупости душевной и жадности материальной, от мелкой злости и личной мстительности, от национальной и националистической узости во всех ее проявлениях (но о последней потом).

Если национальный идеал был у нас всегда разнообразен и широк, то национальный антиидеал — то, от чего отталкивались писатели, художники,— всегда в той или иной мере устойчив.

И все-таки я буду говорить о национальном идеале, хоть он и менее определенен, чем антиидеал. Это для меня важнее, важнее еще и потому, что вдруг я найду единомышленников, а это так важно! Пусть со мной согласятся хоть двое-трое.

И прежде всего мне хочется говорить об идеале, которым жила Древняя Русь.

Чем ближе мы возвращаемся к Древней Руси и чем пристальнее начинаем смотреть на нее (не через окно, прорубленное Петром в Европу, а теперь, когда мы восприняли Европу как свою, оказавшуюся для нас «окном в древнюю Русь», на которую мы глядим как чужие, извне), тем яснее для нас, что в Древней Руси существовала своеобразная и великая культура — культура глубокого озера Светлый Яр, как бы незримая, плохо понятая и плохо изученная, не поддающаяся измерению нашими европейскими мерами высоты культуры и не подчиняющаяся нашим шаблонным представлениям о том, какой должна быть настоящая культура.

В прошлом мы привыкли думать о культуре Древней Руси как об отсталой и «китайски замкнутой» в себе. Шутка ли: приходилось «прорубать окно в Европу», чтобы мало-мальски придать русской культуре «приличный» вид, избавить русский народ от его «отсталости», «серости» и «невежества».

Если исходить из современных представлений о высоте культуры, признаки отсталости Древней Руси действительно были, но, как неожиданно обнаружилось в XX веке, они сочетались в Древней Руси с ценностями самого высокого порядка — в зодчестве, иконописи и стенописи, в декоративном искусстве, в шитье, а теперь стало еще яснее: и в древнерусской хоровой музыке и в древнерусской литературе. А высокие трудовые традиции русского крестьянства — особенно северного и сибирского, не знавшего прикрепления к земле? А народное творчество — особенно исключительно богатый эпос и проникновенная лирика?

Не вернее ли думать, что те области, где эта отсталость замечается, просто менее характерны для культуры Древней Руси и не по ним следует о ней судить?

Для того чтобы яснее представить себе нравственные идеалы Древней Руси, большим подспорьем мог бы служить «Измарагд» — одно из любимейших и авторитетнейших чтений в Древней Руси, а впоследствии у старообрядцев. «Измарагд» был, несомненно, более распространен, чем «Домострой». В. П. Адрианова-Перетц тридцать лет назад исследовала нравственные идеалы Древней Руси по «Измарагду». Исследование это она почему-то не смогла напечатать.

Я не собираюсь ни повторять выводы этого исследования, ни занимать вас своими. Думаю вообще, что исследование нравственных идеалов Древней Руси должно было бы быть сделано на более широких материалах, чем текст одного «Измарагда». Эта работа не для одного поколения ученых. Но, предваряя выводы будущих исследований, отмечу только, что огромная роль в создании этих идеалов принадлежит литературе исихастов, идеям ухода от мира, самоотречения, удаления от житейских забот, помогавшим русскому народу переносить его лишения, смотреть на мир и действовать с любовью и добротой к людям, отвращаясь от всякого насилия. Именно эти идеи в сильно трансформированном виде заставили Аввакума сопротивляться насилию только словом и убеждением, а не вооруженной силой, идти на неслыханное мученичество, проявляя одновременно и удивительную твердость и незлобивость. В Аввакуме и его писаниях поражает не только его нравственная стойкость, но способность подняться над самим собой, взглянуть с доброй и всепрощающей усмешкой на своих мучителей, которых он, отвлекаясь от ненавистных ему взглядов и действий, готов даже пожалеть, зовет их «горюнами», «бедненькими», «дурачками». Аввакума иногда изображают мрачным фанатиком. Это глубоко неверно, он умел смеяться, с улыбкой смотреть на тщетные усилия своих мучителей. Он мягок и одновременно поразительно силен духовно.

В этих условиях, «в условиях» таких идеалов, у людей Древней Руси была удивительная любовь к миру при одновременном признании этого мира греховным, суетным, «мимотекущим» и злым.

Во всякой культуре есть идеал и есть его реализация: действительность, порождая некие идеалы, сама является одновременно попыткой их осуществления, очень часто их искажающей и обедняющей. Характеризуя и оценивая любую культуру, мы должны оценивать то и другое порознь. Это необходимо потому, что осуществление идеалов в действительности может оказаться в резком диссонансе с самими идеалами. Это расхождение может быть в степени их осуществления или даже в самом характере осуществления. Идеал и действительность могут оказаться при этом типологически различны, этически

различны, различны эстетически. Они могут принадлежать, наконец, в одном народе различным географическим странам света: Востоку и Западу, Азии и Европе.

«Двойная жизнь» культуры также обычна, как двойственность человеческой личности, ибо национальная культура тоже личность.

Идеал — мощный регулятор жизни[1], но при всей мощности далеко не всесильный, а иногда направляющий культуры в сторону, отличную от той, в которую движет его исторический процесс со всеми его экономическими основами. Силы идеала, пробиваясь к своему осуществлению, встречаются с сопротивлением «культурной материи», которая может заставить большой парусный корабль культуры лечь в байдевинд.

Именно такой случай мы имеем в культуре Древней Руси. Между идеалом культуры и действительностью оказался огромный разрыв. И не только потому, что идеал с самого начала был очень высок и становился все выше, не будучи накрепко привязан к действительности, но и потому, что реальность была порой чересчур низкой и жестокой. В древнерусском идеале была какая-то удивительная свобода от всякого рода претворений в жизнь. Это не значит, что этих претворений не было. Воплощались и высокие идеалы святости и нравственная чистота.

Судить о народе мы должны по преимуществу, по тому лучшему, что он воплощал или даже только стремится воплотить в жизнь, а не по худшему. Именно такая позиция самая плодотворная, самая миролюбивая и самая гуманистическая. Добрый человек замечает в других прежде всего хорошее, злой — дурное. Геолог ищет ценную породу...

А как все-таки быть с братьями Карамазовыми? Пушкин один, а их все же трое, и стоят они перед нами сплоченным рядом. Идеал должен быть один, а Карамазовы — характеры. Типичные для русских людей? — да, типичные. Это «законные» братья, но есть у них еще и четвертый братец, «незаконный»: Смердяков.

В «законных» Карамазовых смешаны разные черты: и хорошие и плохие. А вот в Смердякове нет хороших черт. Есть только одна черта — черта чёрта. Он сливается с чертом. Они друг друга подменяют в кошмарах Ивана. А черт у каждого народа не то, что для народа характерно или типично, а как раз то, от чего народ отталкивается, открещивается, не признает. Смердяков не тип, а антипод русского.

Карамазовых в русской жизни много, но все-таки не они направляют курс корабля. Матросы важны, но еще важнее для капитана парусника румпель и звезда, на которую ориентируется идеал.

Было у русского народа не только хорошее, но и много дурного, и это дурное было большим, ибо и народ велик, но виноват в этом дурном был не всегда сам народ, а смердяковы, принимавшие обличье государственных деятелей: то Аракчеева, то Победоносцева, то других... Не случайно так много русских людей уходило на север — в леса, на юг — в казаки, на восток — в далекую Сибирь. Искали счастливое Беловодское царство, искали страну без урядников и квартальных надзирателей, без генералов, посылавших их отнимать чужие земли у таких же крестьян, как и они сами. Но оставались все же в армии Тушины, Коновницыны и Платоны Каратаевы: это когда войны

---

[1] См. об этом: Лотман Ю. М. Статьи по типологии культуры. Тарту, 1970, с. 40 (об отношениях между культурой и ее автомоделью).

были оборонительные или освобождать приходилось «братушек» — болгар и сербов.

«Братушки» — слово это придумал народ, и придумал хорошо.

Следовательно, меньше было в русском народе национального эгоизма, чем национальной широты и открытости.

Что делать!— каждый предмет отбрасывает в солнечный день тень и каждой доброй черте народа противостоит своя недобрая.

Патриотизм против национализма

Существуют совершенно неправильные представления о том, что, подчеркивая национальные особенности, пытаясь определить национальный характер, мы способствуем разъединению народов, потакаем шовинистическим инстинктам.

Великий русский историк С. М. Соловьев в начале седьмой книги своей «Истории России с древнейших времен» писал: «Неприятное восхваление своей национальности... не может увлечь русских...» Это совершенно верно. Восхвалением самих себя по-настоящему русские никогда не «хворали». Напротив, русские очень часто, а особенно в XIX и начале XX века, были склонны к самоуничижению — преувеличивали отсталость своей культуры.

Русские хоть и не всегда, но по большей части жили в мире с соседними народами. Мы можем отметить это уже для древнейших веков существования Руси. Мирное соседство русских и карельских деревень на севере в течение тысячелетия — факт очень показательный. Соседство с русскими мери, веси, ижоры и т. д. не было окрашено кровопролитиями. В Киеве был Чудин двор — какого-то знатного представителя чуди (будущих эстонцев). В Новгороде была Чудинцева улица. Там же в недавние годы найден древнейший памятник финского языка — финская берестяная грамота, лежавшая рядом с написанными по-русски. Несмотря на все войны со степью, иные из которых носили отнюдь не национальный, а сугубо феодальный характер, русские князья женились на знатных половчанках. Не было, значит, расовой отчужденности. Да и вся история русской культуры показывает ее преимущественно открытый характер, восприимчивость и в массе своей отсутствие национальной спеси. О том же писал и Достоевский в статье «Два лагеря теоретиков»: «Но узкая национальность не в духе русском. Народ наш с беспощадной силой выставляет на вид свои недостатки и пред целым светом готов толковать о своих язвах, беспощадно бичевать самого себя; иногда даже он несправедлив к самому себе,— во имя негодующей любви к правде, истине... С какой, например, силой эта способность осуждения, самобичевания проявилась в Гоголе, Щедрине и всей этой отрицательной литературе, которая гораздо живучее, жизненней, чем положительная литература времен очаковских и покорений Крыма.

И неужели это сознание человеком болезни не есть уже залог его выздоровления, его способности оправиться от болезни... Сила самоосуждения

прежде всего — сила: она указывает на то, что в обществе есть еще силы. В осуждении зла непременно кроется любовь к добру: негодование на общественные язвы, болезни — предполагает страстную тоску о здоровье»[1].

Это свойство русской литературы находить какие-то дурные стороны во временном бытии нации, в злободневности, в том, что свойственно только сегодняшнему дню и может быть в будущем преодолено, характерно, конечно, не только для Гоголя и Щедрина. Прежде всего оно свойственно самому Достоевскому, а затем — длинному ряду писателей-революционеров — Радищеву, поэтам-декабристам, революционным демократам и т. д., и т. д. И это свойство стоит рядом с умением замечать лучшее у других народов. Это тоже черта очень ценная, если только, конечно, она не переходит в самоохаивание, в злорадство и злопыхательство по поводу своих же собственных недостатков.

Сразу по взятии Казани в середине XVI века составляется «История Казанского взятия», где рассказывается и о храбрости татарских защитников Казани и с сочувствием передается плач казанской царицы Сююмбеки о потере Казанью своей независимости. Это поразительное произведение... Но вот, как будто бы с другого конца, я занялся восхвалением своей национальности? Но нет, ведь то же самое свойство открытости и миролюбия отличало и финские племена, жившие в соседстве с русскими. Эта открытость — черта определенного, донационального, существования народов. Однако на Руси эта черта пережила все временные границы, она утвердилась идеологически, стала сознательным и определенным принципом в жизни лучшей части русской литературы и исторической мысли. Принципы эти были унаследованы восточнославянскими народами у болгар. Кирилл (или Мефодий) говорил в своем споре с триязычниками (сторонниками богослужебной практики только на трех языках — греческом, еврейском и латинском) в Венеции: «Разве не идет дождь для всех равно? Разве не для всех сияет солнце? Не дышим ли мы все единым воздухом?»

Этой мысли вторит в середине XI века русский митрополит Иларион в своем замечательном «Слове о Законе и Благодати», где говорится о том, что все народы равноправны и все совершают общее дело для человечества.

Национальные особенности — достоверный факт. Не существует только каких-то единственных в своем роде особенностей, свойственных только данному народу, только данной нации, только данной стране. Все дело в некоторой их совокупности и в кристаллически неповторимом строении этих национальных и общенациональных черт. Отрицать наличие национального характера, национальной индивидуальности значит делать мир народов очень скучным и серым.

В самом деле, представьте себе, что вы путешествуете в вагоне и видите из окна один и тот же пейзаж. Скучно! Пропадает интерес к путешествию, и исчезает любовь к стране, по которой вы проезжаете. Ребенок не полюбит куклу, если он будет знать, что все куклы совершенно одинаковы и их множество. Надо в своей кукле найти индивидуальные особенности, отличающие ее от других кукол, и надо назвать ее своим именем. Имя как признак индивидуальности, неповторимости играет огромную роль в привязанности к чему бы то ни было и к кому бы то ни было. Если нет индивидуальных особенностей, отличающих одну местность от другой, одно село от другого, один город от другого и ваш собственный дом от соседних,— вся страна превращается в

---

[1] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти т., т. 20. Л., 1980, с. 22.

пустыню, скучную, неинтересную, а люди в ней — в людей, лишенных любви к родным местам.

Именно индивидуальные особенности народов связывают их друг с другом, заставляют нас любить народ, к которому мы даже не принадлежим, но с которым столкнула нас судьба. Следовательно, выявление национальных особенностей характера, знание их, размышления над историческими обстоятельствами, способствовавшими их созданию, помогают нам понять другие народы. Размышление над этими национальными особенностями имеет общественное значение. Оно очень важно.

Со времени, когда жил и работал Достоевский, утекло немало воды — не той воды, что живит и растит, а той «мертвой воды», которая часто являет собой форму пустословия и не дает дышать мысли. Однако эта мертвая вода пустословия не коснулась многих мыслей Достоевского. Они остались в высшей степени современны.

Вот, например, что писал Достоевский в статье «Два лагеря теоретиков (по поводу «Дня» и кой-чего другого)»: «Говоря, впрочем, о национальности, мы не разумеем под нею ту национальную исключительность, которая весьма часто противоречит интересам всего человечества. Нет, мы разумеем тут истинную национальность, которая всегда действует в интересе всех народов. Судьба распределила между ними задачи: развить ту или другую сторону общего человека... только тогда человечество и совершит полный цикл своего развития, когда каждый народ, применительно к условиям своего матерьяльного состояния, исполнит свою задачу. Резких различий в народных задачах нет, потому что в основе каждой народности лежит один общий человеческий идеал, только оттененный местными красками. Потому между народами никогда не может быть антагонизма, если бы каждый из них понимал истинные свои интересы. В том-то и беда, что такое понимание чрезвычайно редко и народы ищут своей славы только в пустом первенстве пред своими соседями. Разные народы, разрабатывающие общечеловеческие задачи, можно сравнить с специалистами науки; каждый из них специально занимается своим предметом, к которому, предпочтительно пред другими, чувствует особенную охоту. Но ведь все они имеют в виду одну общую науку. И отчего наука всего более идет в широту и глубь, как не от специализации ее предметов и частной разработки их отдельными личностями?»[1]

О с о з н а н н а я любовь к своему народу не соединима с ненавистью к другим. Любя свой народ, свою семью, скорее будешь любить другие народы и другие семьи и людей. В каждом человеке существует общая настроенность на ненависть или на любовь, на отъединение себя от других или на признание чужого — не всякого чужого, конечно, а лучшего в чужом,— не отделимая от умения заметить это лучшее. Поэтому ненависть к другим народам (шовинизм) рано или поздно переходит и на часть своего народа — хотя бы на тех, кто не признает национализма. Если доминирует в человеке общая настроенность к восприятию чужих культур, то она неизбежно приводит его к ясному осознанию ценности своей собственной. Поэтому в высших, осознанных своих проявлениях национальность всегда миролюбива, а к т и в н о миролюбива, а не просто безразлична к другим национальностям.

Национализм — это проявление слабости нации, а не ее силы. Заражаются национализмом по большей части слабые народы, пытающиеся сохранить

[1] Д о с т о е в с к и й Ф. М. Полн. собр. соч., т. 20, с. 19—20.

себя с помощью националистических чувств и идеологии. Но великий народ, народ со своей большой культурой, со своими национальными традициями, о б я з а н быть добрым, особенно если с ним соединена судьба малого народа. Великий народ д о л ж е н помогать малому сохранить себя, свой язык, свою культуру.

Необязательно сильный народ многочислен, а слабый малочислен. Дело не в числе людей, принадлежащих к данному народу, а в уверенности и в стойкости его национальных традиций.

Лет пятнадцать назад, еще до образования Общества охраны памятников культуры и истории, я встретился с тремя милыми и думающими молодыми людьми, которые, как и я, были обеспокоены тем небрежением, в котором находились, особенно тогда, памятники культуры. Вместе мы перечисляли, что́ мы теряем и что́ можем еще потерять, вместе были обеспокоены, делились своей тревогой о будущем. Я стал говорить о том, что мы недостаточно заботимся о памятниках малых народов: ижора ведь исчезают бесследно. И вдруг мои молодые люди насупились: «Нет, мы будем заботиться только о русских памятниках».— «Почему?» — «Мы русские».— «Но разве не долг России помогать тем народам, которые волею истории связали свою судьбу с судьбой России?»

Мои мальчики быстро согласились со мной. «Вы поймите,— говорил я,— делать доброе гораздо отраднее, чем плохое. Приятно делать подарки. В покровительстве другим, в добром отношении к ним есть сознание силы, уверенность в себе и есть настоящая мощь». Лица мальчиков просветлели. Точно груз спал с их плеч.

Я говорил, между прочим, и о том, как много ценного для мировой культуры дают народы Поволжья. Поволжья — поймите это! — то есть народов, живущих по великой р у с с к о й реке Волге. А разве Волга не река и других народов — татар, мордвы, марийцев и прочих? Далеко ли от нее до народа коми или башкир? Сколько мы, русские, получили культурных ценностей от других народов именно потому, что сами давали им много! А культура — это как неразменный рубль: расплачиваешься этим рублем, а он все у тебя в кармане и даже, глядишь, денег становится больше.

Какие крупные русские ученые изучали языки Средней Азии, Сибири, Кавказа! Сколько у нас было выдающихся востоковедов, и как выросла сама русская филология благодаря изучению культур народов Востока, какой авторитет завоевала во всем мире...

А искусствоведение, историческая наука, фольклористика, литературоведение, да и многое другое? Русская наука не проиграла оттого, что русские ученые принимали участие в организации национальных научных центров в нашей стране, национальных высших учебных заведений. Она обогатилась и продолжает обогащаться изучением идей, возвращающихся к нам в Россию обогащенными из Еревана, Тарту, Ташкента, Алма-Аты, Тбилиси, Баку, Киева, Минска, Петрозаводска, Вильнюса, Риги...

Вряд ли в этом беспорядочном перечислении научных центров я упомянул всех и вся. Дело не в полноте перечисления, а в полноте осознания той роли, которую играет национальный обмен научным опытом между народами.

Истинный патриотизм в том, чтобы обогащать других, обогащаясь сам духовно. Национализм же, отгораживаясь стеной от других культур, губит свою собственную культуру, иссушает ее.

Культура д о л ж н а быть открытой.

Несмотря на все уроки XX века, мы не научились по-настоящему различать патриотизм и национализм. Зло маскируется под добро.

Патриотизм — это благороднейшее из чувств. Это даже не чувство — это важнейшая сторона и личной и общественной культуры духа, когда человек и весь народ как бы поднимаются над самими собой, ставят себе сверхличные цели.

Национализм же — это самое тяжелое из несчастий человеческого рода. Как и всякое зло, оно скрывается, живет во тьме и только делает вид, что порождено любовью к своей стране. А порождено оно на самом деле злобой, ненавистью к другим народам и к той части своего собственного народа, которая не разделяет националистических взглядов.

Национализм порождает неуверенность в самом себе, слабость, и сам, в свою очередь, порожден этим же.

В тех слоях русского общества, которые всегда были связаны с русской национальной культурой — в крестьянстве, в интеллигенции и у потомственных рабочих (подчеркиваю: именно трудовые традиции делают людей подлинно интеллигентными и нельзя путать интеллигенцию с ее прямой противоположностью — полуинтеллигенцией) меньше всего национализма.

Читатели мне подсказывают: «Хорошо известны факты из сравнительно недавней истории XVII века, когда русский землепроходец Е. П. Хабаров, обосновавшись вблизи места впадения реки Киренги в Лену, организовал там бурение на соль и научил местные народности пользоваться солью, избавил их от мучительной операции, необходимой из-за отсутствия соли,— подвергать себя периодически обкусыванию муравьями[1].

Миссия Баранова на Аляске тоже была дружественной (начало XIX в.). Русские организовали самые хорошие отношения с аборигенами Аляски. Когда русские ушли — многое изменилось».

Но те же авторы письма возражают мне по поводу «пацифизма русского характера». Но, во-первых, я вовсе не утверждаю, что русский характер — это характер пацифиста. И слова-то такого я не употребляю. Примеры, приводимые читателями, вовсе не идут к делу: «войны донских казаков в XVII веке», «войны Петра I за низовья Невы», «среднеазиатский поход Скобелева». Нельзя делать народ ответственным за действия властителей — испанцев за инквизицию и жестокий захват Перу и Мексики, французов за Варфоломеевскую ночь, русский народ за жестокости Грозного, за подавление восстания Пугачева Суворовым... Да и примеры, приводимые авторами письма, не совсем верны. Донские казаки отстаивали Азов от турок и именно в этом просили поддержки московского правительства. Низовья Невы с X века и по Столбовский мир в начале XVII века принадлежали Руси. Скобелев со своими войсками выполнял свой воинский долг не против среднеазиатских народов, а против соперничества Великобритании в этом районе,— соперничества очень в тот момент опасного для России. Конечно, примеры жестокого отношения царизма к другим народам могли бы быть приведены другие, но разве не страдал сам русский народ, и в первую очередь именно русский от жестокости своего правительства?

---

[1] Современные исследования показали, что некоторые племена Южной Америки и сейчас спасаются от солевого голодания именно так. Оказывается, есть виды муравьев, которые при укусе вносят в человеческий организм небольшие порции соли. (Из письма И. С. Завалишина и Е. М. Соколовой в редакцию «Нового мира» по поводу моей статьи «Заметки о русском» в № 8 за 1980 г.).

Русская история в прошлом — это история бесконечных испытаний, несмотря на которые народ сохранял и достоинство, и доброту.

Будем любить свой народ, свой город, свою природу, свое село, свою семью.

Если в семье все благополучно, то и в быту к такой семье тянутся другие семьи — навещают, участвуют в семейных праздниках. Благополучные семьи живут социально, гостеприимно, радушно, живут вместе. Это сильные семьи, крепкие семьи.

Так и в жизни народов. Народы, в которых патриотизм не подменяется национальным «приобретательством», жадностью и человеконенавистничеством национализма, живут в дружбе и мире со всеми народами.

Можно только радоваться, живя в стране, где встречаются и сходятся самые различные народы — различные по обычаям, культурным традициям и национальному характеру.

Как ученый, я занимаюсь древней русской литературой, то есть именно тем периодом русской литературы, в котором ее русскость была выражена с наибольшей отчетливостью. И вот что достойно внимания: в древней русской литературе наряду с русскими писателями выступали болгары (Киприан, Григорий Цамблак), сербы (Пахомий Логофет, Аникита Лев Филолог), греки (Максим Грек и многие другие), хорваты (Юрий Крижанич), поляки (Андрей Белобоцкий), мордвины (по-видимому, «протопоп богатырь» Аввакум и его недооцененный противник — патриарх Никон), белорусы, украинцы (их много в XVII веке, их не перечислишь)... Все они включались в созидательный процесс развития русской литературы.

Мы все граждане своего народа, граждане нашего великого Союза и граждане всего земного шара. Пусть это не звучит напыщенно. Это сказано мною от всего сердца, а то, что сказано от сердца, не может быть пустой фразой.

О национализме, основанном на ненависти к другим народам, и о патриотизме, основанном на любви к своему, хочется сказать словами одной грузинской песни:

То, что ненависть разрушит,
То любовь восстановит...

Величие Киева[1]

Когда князь Олег, прозванный Вещим, сел в Киеве на княжение, он сказал, как пишет летописец: «Се буди мати градом русьским». Этим он утвердил значение Киева как столицы всей Русской земли — от Ладоги и Новгорода на севере и Полоцка на северо-востоке до Тмутаракани на Черном море, от Карпат на западе до Волги на востоке.

---

[1] Выступление в Киеве 3 декабря 1981 года на пленарном заседании конференции «Исторические традиции духовной культуры народов СССР и современная идеологическая борьба» в связи с 1500-летием Киева.

«Мать городов» — это именно «столица», метрополия. Но «мать городов руських» имеет и другое значение, специфически древнерусское[1]: Киев *породил* многие города, основанные киевскими князьями и частично названные в честь этих князей — Владимир на Клязьме. названный по имени Владимира Святославича, и Владимир Волынский — в его же честь, Ярославль на Волге — в честь Ярослава Мудрого. А затем — Изяславль, Всеволож, Глебль, Кснятин, Василев, два Юрьева (один на Чудском озере, другой во Владимирской земле) и пр. и пр. Одной из княжеских забот было основание городов — как укрепленных пунктов и административных центров. Укрепленную полосу городов строил против степи на юге от Киева уже Владимир I Святославич. И сам он, и его преемники строили также города на северо-востоке и на юго-западе Русской земли. Насколько быстро и интенсивно шло строительство городов, можно судить по следующим цифрам, приведенным в свое время акад. М. Н. Тихомировым: для IX—X веков летописи упоминают 24 русских города, в XI веке упомянуто уже 88 городов, в XII веке летописи называют еще 119 новых городов, а в XIII веке до Батыева нашествия, т. е. за одну только треть века, еще 32 новых города.

Несмотря на постоянно возникавшие с XI века попытки к политическому обособлению отдельных княжеств, несмотря ни на что, Русская земля на всем своем огромном пространстве никогда полностью не утрачивала своего единства вплоть до Батыева нашествия и установления Ордынского ига.

Единство *Руськой* земли крепилось разными путями. *Руськая* земля находилась в политической власти единого княжеского рода. И хотя князья враждовали, но не сидели только на одном княжеском столе — переходили из княжества в княжество, стремясь занять более высокое место, чтобы в конце концов попытаться достигнуть золотого киевского стола. Следовательно, *Руськая* земля была для них единой. Единой она была и для *руськой* церкви с Киевом во главе. Киево-Печерская обитель была такой же «матерью» *руських* монастырей, как и сам Киев — *руських* городов. Монахи Киево-Печерского монастыря становились епископами в древнерусских епископиях — в Новгороде и Владимире, Галиче и Переяславле, основывали монастыри и закладывали церкви.

Другой важной и действенной силой, сохранявшей единство *Руськой* земли на всем ее огромном пространстве, был язык и фольклор. Различия в разговорном языке в отдельных областях были сравнительно незначительными. Язык повсюду был в сущности единый, и то же следует сказать о фольклоре — особенно об эпосе. Не случайно, что былины о киевских богатырях в XVIII и XIX веках, т. е. спустя более полутысячелетия, сохранялись лучше всего на севере России: туда эти былины проникли уже в очень раннее время, там продолжали развиваться, там были памятью о далеких временах единства восточного славянства. И Киев при этом сохранял во всех них название и значение «стольного города» — столицы Руси. В народном, фольклорном сознании Киев был столицей всей Древней Руси — на всем ее пространстве, а не одной только Украины, в этом величие Киева, его огромнейшая культурно-историческая и политическая заслуга.

---

[1] Под словом «древнерусский» здесь и в дальнейшем мы имеем в виду принадлежность Руси — общей восточнославянской народности в хронологических пределах примерно до середины XIII века. Слово «Русь» было самоназванием восточнославянской народности и земли, ею занимаемой.

В образовании древнерусской (восточнославянской) народности языковое единство также имело совершенно исключительное значение. Разные факторы образуют народность, но среди этих разных факторов отдельные играют то большую, то меньшую роль. Для древнерусской народности язык играл первую роль; и не случайно в древнерусском языке одно из значений слова «язык» было именно «народ».

Сравнение с Византией может продемонстрировать мою мысль. Византия была многоязычным государством, и когда под ударами турок Византийское государство пало, оно уже не смогло возродиться. Иначе было с Древней Русью. Батыево нашествие не смогло разрушить народного единства и народного самосознания Древней Руси, Древняя Русь возродилась, но появившиеся языковые различия отметили собой образование двух наций, а впоследствии — трех (имею в виду Белоруссию). Но при этом сохранившаяся близость языков объединяла все три народа и продолжает объединять их до сих пор.

Еще одной силой, помогавшей культурному сплочению всех княжеств и областей *Русьской* земли, была литература. Даже в большей степени, чем разговорный язык, един был язык литературный. По происхождению своему это был язык староболгарский, постоянно впитывавший в себя элементы русского языка, не сильно от него отличавшегося. Литературный язык никак не различался по областям, ибо литературные произведения, в какой бы части *Русьской* земли ни были они созданы, постоянно перевозились из города в город, из монастыря в монастырь, из княжества в княжество. Литература была единой не только потому, что литературные произведения широко распространялись по всему пространству *Русьской* земли, но и потому, что они создавались очень часто не совсем обычным для нового времени путем. Так, например, из переписки двух монахов — одного, жившего в Киеве в Киево-Печорском монастыре, а другого — на северо-востоке — во Владимире на реке Клязьме, возник замечательный памятник литературы XII века — Киево-Печерский патерик. Обычный путь, который проходили при своем создании летописные своды,— это путь соединения в одном произведении записей, делавшихся в различных городах и монастырях *Русьской* земли, часто очень отдаленных друг от друга. Так, записи, сделанные в Новгороде на севере, присоединялись к записям, составленным в Киеве. Киевские записи и целые большие исторические произведения включались в летописи во Владимире на Клязьме. Уже в XI веке в киевские летописные своды входили записи о событиях в Тмутаракани на Черном море, несомненно сделанные именно там — с точным указанием дат событий. Мы могли бы привести множество примеров того, каким интенсивным литературным обменом жила *Русьская* земля и какое огромное значение в Киевской Руси имел обмен посланиями, письмами, летописными сочинениями, произведениями проповеднической литературы между самыми отдаленными географическими точками. Литература покоряла пространство самой крупной равнины мира. Словно и не было многодневных и многонедельных переездов, трудных путей сообщения, частой и продолжительной непогоды весной и осенью, прекращавшей полностью связи между отдельными княжествами и отрезавшей от Киева города, селения и монастыри. В этом литературном общении с центром связей все время оставался Киев. Это была столица древнерусской литературы.

Но самой замечательной особенностью литературы было то сознание

национального, политического и культурного единства, которое было свойственно всем произведениям Киевской Руси без исключения. Наиболее знаменитыми памятниками в этом отношении являются «Повесть временных лет», «Поучение» Владимира Мономаха, Киево-Печерский патерик и «Слово о полку Игореве». Рядом с этими памятниками были десятки других, в которых сознание исторического единства и необходимости политического и оборонного единения было чрезвычайно выраженным, как, например, произведение того же XII века, что и «Слово о полку Игореве»,— «Слово о князьях». Не было ни одного литературного произведения, которое проповедовало бы раздробленность, обособление княжеств. Если один князь выступал против другого, это оправдывалось борьбой за единство. Борьба за разъединение Руси не могла быть популярной.

И особенно, о чем следует сказать, подчеркивая единство самой большой страны в Европе XI — начала XIII века,— это единство ее искусства. Искусство было едва ли не самой важной составной частью древнерусской культуры. Киев, как и во всем, был в этой области столицей, центром, законодателем и огромным университетом. Его роль была не столь интенсивной, но все же очень сходной с ролью Константинополя в искусстве Византийской империи. Различие с Константинополем состояло в том, что к XII веку Киев перестал быть самым могучим на Руси военным центром. Во второй половине XII века военное могущество Киева пало очень низко, однако духовная, культурная власть его над страной оставалась по-прежнему необыкновенно сильной. Не случайно каждый из русских князей, где бы он ни княжил, мечтал со временем достигнуть золотого киевского стола. Сюда устремляли свои взоры и князья Чернигова, и князья Смоленска, и князья Владимира на Клязьме, и князья Галицко-Волынской земли. Многие приходили сюда и, как это ни парадоксально, подвергали иногда Киев страшному разорению, ревнуя к киевской славе и его духовному владычеству над *Русьской* землей, стремясь унести какую-то часть этой славы в свой княжой город, увозя с собой святыни и произведения искусства. В 1200 году особенно сильному разорению подверг Киев Рюрик Ростиславич. Но Киев оставался Киевом до самого его захвата ордами Батыя. Он возрождался вновь и вновь из всех разорений и никогда не терял своей славы центра *Русьской* земли.

Конечно, в искусстве местные особенности сказывались значительно больше, чем в литературе или в других областях культуры. Объяснялось это тем, что строители зависели от местных материалов и от местных мастеров. От местных материалов зависели и художники, для которых красками служили не только привозные материалы, но и местные — особенно, когда приходилось расписывать огромные стены храмов. Некоторые производства нельзя было организовать на месте. Поэтому мозаики существовали только в Киеве. Их не было ни в новгородских, ни в псковских, ни во владимирских храмах. Но тем не менее артели строителей, художников, различных ремесленников переезжали из княжества в княжество, и этот «кочевой» характер артелей мастеров, как и «кочевой» характер средневековой интеллигенции вообще, крепил единство культуры Киевской Руси.

Наконец, скажем несколько слов о том, что особенно могущественно идейно и эмоционально объединяло русскую культуру XI—XIII веков во всех ее различных областях и отраслях. Вся *русьская* культура XI—XIII веков была во власти единого стиля — стиля динамического монументализма.

Мы можем называть это явление своеобразной *стилистической формацией*[1], которой подчинялось все искусство, вся литература, вся политическая, богословская и философская мысль, весь «стиль жизни». Корни этой мощной стилистической формации были в Византии и Болгарии — двух странах, откуда Киевская Русь получила свою духовную культуру и успешно ее развила, придав ей своеобразные черты.

Главная черта эстетической формации динамического монументализма состояла в тяготении к мышлению широкими масштабами, в попытках разрешения основных проблем бытия, в стремлении к осмыслению исторического существования *Русьского* государства, в стремлении к преодолению больших пространств, к передвижению больших масс, в ощущении красоты тяжести и красоты преодоления этой тяжести, в значительности и «вечности» образов, в том, что можно назвать «ландшафтным зрением» в литературе и взглядом как бы «из вечности» в живописи, в том, что утверждало храмы как своеобразные маяки, светящиеся в огромных пространствах и осваивающие эти пространства своими массивными формами.

Динамический монументализм сказался и в значительнейшем из «слов» XI века — в «Слове о Законе и Благодати», в котором делалась глубокая попытка осмыслить историческое существование Руси, и в грандиозном историческом произведении рубежа XI—XII веков — «Повести временных лет», где русская история была вставлена в оправу всемирной истории и выяснялся вопрос, как и откуда пошла Русская земля. В XII веке динамический монументализм проявляется в «Слове о полку Игореве», где действие разворачивается на всем пространстве Руси — от Новгорода и до Черного моря, от Галича и Полоцка и до Волги. Тот же динамический монументализм отчетливо виден в сочинениях киевского князя Владимира Мономаха, в проповедях Кирилла Туровского, Серапиона Владимирского, в многочисленных летописях и т. д. и т. п.

В искусстве динамический монументализм особенно ярко сказался, разумеется, в идейном центре Руси — Киеве. Монументальные образы его храмов, образы городов, основанных киевскими князьями, всегда поставленных на крутом берегу рек над заливными лугами противоположного берега, с вереницей храмов, видных издалека всем подъезжающим по реке. Монументальностью охватывается вся страна, где города строились как своеобразные «подворья» Киева, воспроизводили Киев в своем внешнем облике, в посвящениях своих храмов Успению (по главной святыне Киево-Печерского монастыря, откуда Успенские храмы распространились по многим городам Руси— во Владимире, Ростове, Суздале, Смоленске и т. д.), в названиях ворот (как, например, во Владимире, где так же, как и в Киеве, были выстроены Золотые ворота и Медные).

Важно отметить, что отдельные линии княжеского рода стремились иметь в Киеве «свои» храмы (так, например, Кирилловская церковь XII века на Киевском Подоле была родовой церковью Ольговичей).

Широкое ви́дение, свойственное искусству XI—XIII веков, Киевской Руси в целом, объединяло древнюю Русь вокруг Киева и делало искусство и литературу важным фактором сохранения единства Руси.

Люди Киевской Руси мыслили широкими масштабами, глобальными

[1] Термин «стилистическая формация» был предложен в свое время загребским ученым проф. Александром Флакером.

проблемами *своего* существования и существования своей *страны,* ощущали себя частицами огромной Вселенной, ориентируя свои храмы и жилища по странам света, вставая «до света», чтобы не пропустить восход солнца (как этого требовал Владимир Мономах в своем «Поучении»), воспроизводя в своих храмах, в их внутреннем устройстве всю Вселенную, всю мировую историю в ее тогдашнем понимании.

В одном из своих поучений знаменитый киевский проповедник Феодосий Печерский высказывает своеобразный взгляд на произведения искусства. Он утверждает, что они созданы не столько человеком — художником, зодчим,— сколько *для* человека, *во имя* человека, *во славу* человека.

Феодосий Печерский говорит: входя в храм и поклонившись трижды до земли, следует со страхом безмолвно стать «при стене», «гласы немолчны воспевающи к Всевышнему», ибо не имеющие себе подпоры стены и столпы храмов «*нам* суть на честь сотворены».

«На честь» человеку созданы, конечно, не только стены храмов, но и все изображенное на них и все украшающее их — иконы и паникадила, утварь храма и его роскошные мозаичные полы. Отсюда — высокое представление о человеке, о его достоинстве, несуетном уме, высокой мудрости и щедрой доброте. Эти представления воплощены в образах людей на мозаиках, фресках и иконах — в их лицах, как бы озаренных внутренним светом «горнего ума», «ликования», означавшего в Древней Руси не только изображение ликов, но и торжествование, радование, а также хоровое пение. Почему именно «хоровое»? Потому, очевидно, что самым важным в существе ликов была их соборность и «собранность» в единое сообщество, их причастность к единому, составляющему мир целому.

Лицо человека, согласно «Поучению» Владимира Мономаха,— это самое большое чудо во всей Вселенной, ибо в мире нет двух одинаковых лиц: «И этому чуду подивимся,— пишет киевский князь Владимир Мономах,— как из земли созданный человек имеет столь разнообразные лица. Если и всех людей собрать, то не все они на одно лицо, но каждый имеет свое обличье, по божьей мудрости».

Удивление перед человеческим лицом — «ликом» пронизывает собой все искусство Киевской Руси. Человек — это микрокосм, а храм — это своего рода человек. Не случайно поэтому основные части храма названы по подобию человека: окна — это очи человека (корень «окна» — око), купол — глава, поставлена эта глава храма на шее, основание храма — его подошва. А выступы в городских стенах — перси. Защитные от дождя выступы над окнами-очами — бровки. Двери домов и крепостей — их уста.

Тот же ликоподобный и человекоподобный облик имеет и мир. Солнце на миниатюрах изображается с ликом — лицом. Звезды в целом составляют лик — единое лицо и целый хор: небо венчает «лик звездный». Лик и множествен и един одновременно: это и неповторимый облик человеческого лица и вся их совокупность — лик монашеский, лик святых, лик поющих в церкви, лик и отдельных изображений и всей совокупности изображенного на стенах церкви мозаикой и фресками, икон и самих предстоящих перед ними. «Ликом», своеобразным хором была и вся совокупность *русьских* городов с Киевом как их духовной столицей.

Вот почему искусство Киевской Руси одновременно и глубоко лично и соборно. Каждый художник ощущал себя как бы выполняющим некоторую чужую, высшую волю, и имена художников поэтому в основном затерялись,

хотя имена заказчиков храмов, жертвователей, ктиторов и сохранились до нас. Но не чувствуя себя инициатором-творцом, каждый художник стремился тем не менее воплотить в своих творениях нечто неповторимое, индивидуальное, показать зрителям первое диво дивной и удивительной Вселенной — разнообразие и красоту человеческих лиц.

Мы сказали — «красоту», но в чем состояла эта красота? К какому бы сословию Древней Руси или предшествующих веков мировой истории ни принадлежал изображенный, основным идеалом Древней Руси был идеал воинский. Это кажется удивительным, ибо изображения до нас дошли в основном церковные и изображенные на фресках, мозаиках и иконах принадлежат главным образом к членам церкви (монахи или церковные иерархи). Но с кем сравниваются церковные деятели в сочинениях своего времени? Прежде всего с воинами. Христианские подвижники — это «воины Христовы», а потому в лицах их ярче всего отражено мужество и чувство чести, воинской чести, воинской осторожности и мудрости. Каждый праведник — это воин, совершающий подвиги. Книги для него все равно, что оружие для воина: «Красота воину оружие и кораблю ветрила, тако и праведнику — почитание книжное»[1]. Вот отчего и праведники на изображениях, если они не воины, имеющие в руках оружие, стоят по большей части с книгами или свитками, как с мечами и щитами, а лица их преисполнены мудрости и мужественного спокойствия.

Объясняя идеал праведника, древнерусский книжник писал: «Любит князь воина, стоящего и борющегося с врагами, иногда получающего раны, иногда же наносящего раны противнику,— больше, чем убегающего и оружие бросающего. Так и бог сочувствует тому, что «страдает» (трудится.— *Д. Л.*) за правду, не слабеет и борется с врагами, не заботясь о себе»[2].

Воинский идеал не означал особой воинственности древних русичей: в воине привлекало к себе чувство собственного достоинства, готовность к самопожертвованию и чувство чести. Вот почему в древнейшем законодательстве Руси, в «Русской Правде» за удар мечом плашмя в драке полагалось большее наказание, чем за удар острием: он был более оскорбителен ибо он как бы означал, что противник не считался равным.

Хотя идеалом святого был в той или иной степени воин, это не значит, что лики изображаемых на иконах, фресках и мозаиках однообразны. «Разнообразие человеческих лиц», отмеченное Владимиром Мономахом в его «Поучении», остается самым примечательным феноменом окружающего мира для любого древнерусского художника. И хотя художники стремятся изобразить людей, как бы познавших тайну мира, а потому мудрых, их мудрость необычайно разнообразна. Среди ликов Древней Руси есть лики мудрые страданием, мудрые знанием и книжной мудростью, мудрые мужеством и мудрые силой, мудрые жизненным опытом и мудрые дерзостью юности, мудрые смирением и мудрые пониманием других людей, мудрые предвидением будущего, мудрые добротой и мудрые просто мудростью. Нет не только двух схожих лиц, но нет и схожих человеческих индивидуальностей. Представления историков, вообразивших себе Средние века временем подавления личности,— не более чем миф, развившийся на почве самоуверенности людей Нового времени.

---

[1] Изборник Святослава 1076 г. М., 1965, с 154.

[2] Там же, с. 581—582.

В истории культуры каждая стилистическая формация не была просто эстетическим явлением, результатом сформировавшихся новых вкусов, просто эстетических представлений и настроений. Эстетическая формация отвечала *нуждам* общества, нуждам народа, нации, историческим потребностям.

Эстетическая формация, которая была характерна для эпохи Киевской земли, в высшей степени точно отвечала нуждам сохранения единства народа, рассеянного по колоссальной территории, она служила целям объединения, умению видеть в малом большое и в большом единое. Эта эстетическая формация динамического монументализма создала идеал людей и человеческой деятельности, который лучше всего соответствовал потребностям обширнейшей страны. Это одно из удивительнейших явлений в истории культуры вообще.

Эстетический монументализм создал идеал людей, ценивших и любивших быстрые и долгие походы, военные успехи в защите огромной территории, умение переноситься мыслью из одного пункта *Русьской* земли в другой, мечту о перелетах — как в «Слове о полку Игореве», людей, ощущавших свое языковое и культурное единство, чувствовавших себя частью европейской культуры, трансплантировавших к себе все лучшее, что было в других странах — Балканских, соседних на Западе и соседних на Востоке[1]. Стилистическая формация динамического монументализма способствовала не только консолидации общенародных сил и самосознания восточного славянства, но и осознанию восточным славянством своей общности со всем человечеством — росту основ будущего интернационализма восточных славян.

* * *

Киевская Русь, ее идеалы и ее стилистическая формация, позволившая осознавать всю Русскую землю как огромное и единое целое, сыграли выдающуюся роль во всей последующей истории Руси. В XIV веке в период перед Куликовской битвой, послужившей началом освобождения Руси от монголо-татарского ига, существенное значение имело обращение к традициям эпохи независимости, т. е. к традициям Киевской Руси,— в политике, в литературе, в живописи, в зодчестве, в фольклоре, в церковной жизни и т. д. В литературе это обращение ко временам независимости Киевской Руси заметно во многих произведениях — в московском летописании, в «Задонщине», в «Сказании о Мамаевом побоище», в «Слове инока Фомы тверскому князю Борису Александровичу», в поздних редакциях «Повести о разорении Рязани Батыем», в «Слове великому князю Дмитрию Ивановичу Донскому» и т. д. В искусстве обращение ко временам независимости Руси сказалось в реставрациях домонгольских храмов во Владимире, в Твери, в Новгороде, в подновлениях домонгольских фресок во Владимире, отчасти в самом стиле живописи Андрея Рублева, как бы продолжающем стиль живописи XI—XIII веков.

В политике обращение сказалось в притязаниях московских князей на наследие киевских князей, в сохранении московским митрополитом титула «киевского и всея Руси» и пр.[2]

---

[1] Литература о культурных связях Руси с Востоком, и в частности с половцами, чрезвычайно обширна. Об этом писали Б. Мелиоранский, П. Зайончковский, В. Пархоменко, М. Приселков, а в последние годы В. Гордлевский и А. Робинсон.

[2] См. подробнее: Лихачев Д. С. Культура Руси эпохи Андрея Рублева и Епифания Премудрого. М.— Л., 1962.

Обращение к Киевской Руси в XIV—XV веках сыграло в Московской Руси действенную роль в культурном и политическом возрождении, а в XVII веке привело в конце концов к объединению трех братских народов — великорусского, украинского и белорусского в единое государство, а в культуре — к объединению культурному, в котором относительно позднее украинско-белорусское искусство, искусство барокко, заняло свое достойное место.

* * *

Разрубленная ударами ордынских сабель и хитрой политикой разъединения, Русь и после своего распада на Украину и Великороссию оставалась единой — как остаются едиными вращающиеся вокруг невидимого центра, вокруг друг друга небесные тела.

Культуру Северной Руси все время тянуло к культуре Южной Руси — не только древней, общей, но и новой. С юга в Северную Русь проникает украинское барокко — в зодчестве, поэзии, музыке. Приезжают деятели украинской культуры, занимают ответственные посты в Русском государстве и церкви украинцы.

На русский литературный язык оказывает постоянное влияние украинский язык, украинизмы в лексике и в произношении. Обратное влияние хорошо известно — особенно в XIX и XX веках.

Историки литературы и искусства очень часто не учитывают творческого участия, творческого соседства в историко-литературном процессе двух великих культур. Мы не просто шли вместе,— мы шли в ногу, соизмеряя свои шаги, их темп, их направление.

Россия и Украина составляли в течение веков после своего разделения не только политическое, но и культурное двуединство. Русская культура немыслима без украинской, как и украинская без русской.

Художники Д. Левицкий, В. Боровиковский, А. Лосенко, А. Куинджи происходили с Украины, а мыслима ли без них история русской живописи? В Петре Ильиче Чайковском и в Маяковском текла украинская кровь. Может быть, она текла и в Достоевском. С Украины Чехов, А. Ахматова, К. Паустовский. С Украины композиторы Д. Бортнянский и С. Прокофьев. А какое значение Украина и украинский язык и фольклор имели для Лермонтова, Некрасова, Лескова (вот кто удивительно почувствовал красоту украинской речи, украинского характера, природы, да и самого Киева!). На Украине писал Пушкин, работали И. Айвазовский, И. Вишняков, В. Антропов, Виктор Васнецов и Врубель.

Без Украины невозможна была бы вся русская культура XVII века, без Киева, Киево-Печерской лавры и Киево-Могилянской академии, без украинского барокко, без Ивана Зарудного в зодчестве и прикладном искусстве и украинского школьного барокко в литературе, в театре.

А разве можно писать историю русской поэзии XIX века, не учитывая Шевченко? Возможен ли Гоголь без Украины, без широко и по-доброму повлиявшего на него украинского юмора, украинского фольклора, украинской сочной и цветистой речи?

Но ведь и Украина невозможна без России! Разве в Киеве не строили русские архитекторы? Разве не одно из лучших украшений Киева

Андреевская церковь, построенная воспитанным в русских архитектурных традициях сыном петровского скульптора В. В. Растрелли? Разве не несут в себе русских градостроительных традиций многие города Украины, и в первую очередь Киев? Разве может быть украинская поэзия (Леси Украинки, М. Рыльского и др.) без Пушкина, без Лермонтова и Некрасова?

Разве не воспитался Шевченко-художник в петербургской Академии художеств?

Украина — цветущая, поющая, привольная — всегда привлекала к себе сердца русских — россиян. Влекли к себе украинские степи, белые украинские хаты, вышитые украинские рушники, украинские сады и украинская мягкая речь, украинский юмор и широта украинского национального характера.

И Киев всегда вызывал чувство ностальгии у русских: как древняя столица Русской земли, как «мать городов русьских», как центр самых больших русских святынь, никогда не противопоставляемых украинским.

Тысячи простых русских людей со всех концов Русской земли, даже с Крайнего Севера, во все века пешком месяцами шли поклониться Киеву, а такие сказители, как Кривополенова, искали в Киеве места, связанные с событиями, описанными в былинах. Люди шли не только в Киево-Печерскую лавру, но и в стольный город Руси, город, где у князя Владимира собирались русские богатыри, где Илья, Добрыня, Алеша, защищали его от врагов.

В Киеве при всем его национальном своеобразии есть общие градостроительные принципы с другими украинскими и русскими городами, есть отдельные здания, созданные гениями тех, кто создавал Москву и Петербург, а в Москве — сколько неучтенного и незамеченного еще киевского, даже в Петербурге был уголок Киева — знаменитая церковь Покрова на Сенной площади, построенная в духе украинского барокко.

Невский проспект был увиден и описан глазами украинца Гоголя, а Киев 1918 года — глазами великоросса Михаила Булгакова.

Существует неправильное и очень распространенное мнение о том, что национальные особенности и национальные ценности зреют и крепнут в уединении, отделенные стенами от других культур. Напротив того: в оранжереях растут слабые растения, растения, не выдерживающие вольного наружного климата. Сильные культуры, к которым несомненно принадлежат и русская, и украинская, и белорусская, получают свои национальные особенности от общения между собой и с другими культурами, от взаимовлияний и взаимообщения, позволяющих творчески усваивать и перерабатывать на свой лад достижения соседей.

Будем ценить наше родство, взаимно поддерживающее нас,— оно ценно, ибо своеобразие каждого из наших народов родилось и развилось во взаимообщении, а динамический монументализм древнего Киева — стилистическая формация Древней Руси, на которой я особенно подробно остановился в своем докладе,— до сих пор сказывается в национальном характере как русских, белорусов, так и украинцев. Сказывается и открытый характер восточнославянских культур, их связи со многими народами Советского Союза.

Экология культуры

Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родной речи начинается с малого — с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своей стране — к ее истории, ее прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству, к человеческой культуре.

Истинный патриотизм — это первая ступень к действенному интернационализму. Когда я хочу себе представить истинный интернационализм, я воображаю себя смотрящим на нашу Землю из мирового пространства. Крошечная планета, на которой мы все живем, бесконечно дорогая нам и такая одинокая среди галактик, отделенных друг от друга миллионами световых лет!

Человек живет в определенной окружающей среде. Загрязнение среды делает его больным, угрожает его жизни, грозит гибелью человечеству. Всем известны те гигантские усилия, которые предпринимаются нашим государством, отдельными странами, учеными, общественными деятелями, чтобы спасти от загрязнения воздух, водоемы, леса, чтобы охранить животный мир нашей планеты, спасти становища перелетных птиц, лежбища морских животных. Человечество тратит миллиарды и миллиарды не только на то, чтобы не задохнуться, не погибнуть, но чтобы сохранить также природу, которая дает людям возможность эстетического и нравственного отдыха. Целительная сила природы хорошо известна.

Наука, которая занимается охраной и восстановлением окружающей природы, называется экологией и как дисциплина начинает уже сейчас преподаваться в университетах.

Но экологию нельзя ограничивать только задачами сохранения природной биологической среды. Для жизни человека не менее важна среда, созданная культурой его предков и им самим. Сохранение культурной среды — задача не менее существенная, чем сохранение окружающей природы. Если природа необходима человеку для его биологической жизни, то культурная среда столь же необходима для его духовной, нравственной жизни, для его «духовной оседлости», для его привязанности к родным местам, для его нравственной самодисциплины и социальности. А между тем вопрос о нравственной экологии не только не изучается, он даже и не поставлен нашей наукой как нечто целое и жизненно важное для человека. Изучаются отдельные виды культуры и остатки культурного прошлого, вопросы реставрации памятников и их сохранения, но не изучается нравственное значение и влияние на человека всей культурной среды во всех ее взаимосвязях, хотя сам факт воспитательного воздействия на человека его окружения ни у кого не вызывает ни малейшего сомнения.

Вот, к примеру, после войны в Ленинград вернулось, как известно, далеко не все довоенное население, тем не менее вновь приехавшие быстро приобрели те особые, ленинградские черты поведения, которыми по праву гордятся ленинградцы. Человек воспитывается в определенной, сложившейся на протяжении многих веков культурной среде, незаметно вбирая в себя не только современность, но и прошлое своих предков. История открывает

ему окно в мир, и не только окно, но и двери, даже врата. Жить там, где жили революционеры, поэты и прозаики великой русской литературы, жить там, где жили великие критики и философы, ежедневно впитывать впечатления, которые так или иначе получили отражение в великих произведениях русской литературы, посещать квартиры-музеи — значит обогащаться духовно.

Улицы, площади, каналы, дома, парки — напоминают, напоминают... Ненавязчиво и ненастойчиво творения прошлого, в которые вложены талант и любовь поколений, входят в человека, становясь мерилом прекрасного. Он учится уважению к предкам, чувству долга перед потомками. И тогда прошлое и будущее становятся неразрывными для него, ибо каждое поколение — это как бы связующее звено во времени. Любящий свою родину человек не может не испытывать нравственной ответственности перед людьми будущего, чьи духовные запросы будут все множиться и возрастать.

Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии своих родителей, не ценит память о них, оставленную в саду, который они возделывали, в вещах, которые им принадлежали,— значит, он не любит их. Если человек не любит старые улицы, старые дома, пусть даже и плохонькие,— значит, у него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны — он, как правило, равнодушен и к своей стране.

Итак, в экологии есть два раздела: экология биологическая и экология культурная, или нравственная. Убить человека биологически может несоблюдение законов биологической экологии, убить человека нравственно может несоблюдение законов экологии культурной. И нет между ними пропасти, как нет четко обозначенной границы между природой и культурой.

Человек — существо нравственно оседлое, даже и тот, кто был кочевником, для него тоже существовала «оседлость» в просторах его привольных кочевий. Только безнравственный человек не обладает оседлостью и способен убивать оседлость в других.

Все мною сказанное не значит, что надо приостановить строительство новых сооружений в старых городах, держать их «под стеклянным колпаком» — так искаженно хотят представить позицию защитников исторических памятников некоторые не в меру рьяные сторонники перепланировок и градостроительных «улучшений».

А это значит только, что градостроительство должно основываться на изучении истории развития городов и на выявлении в этой истории всего нового и достойного продолжать свое существование, на изучении корней, на которых оно вырастает. И новое должно также изучаться с этой точки зрения. Иному архитектору, может, и кажется, что он открывает новое, в то время как он только разрушает ценное старое, создавая лишь некоторые «культурные мнимости».

Не все то, что воздвигается нынче в городах, есть новое по своему существу. Подлинно новая культурная ценность возникает в старой культурной среде. Новое ново только относительно старого, как ребенок — по отношению к своим родителям. Нового самого по себе, как самодовлеющего явления, не существует.

Так же точно следует сказать, что простое подражание старому не есть следование традиции. Творческое следование традиции предполагает поиск

живого в старом, его продолжение, а не механическое подражание иногда отмершему.

Возьмем, скажем, такой древний и всем хорошо знакомый русский город, как Новгород. На его примере мне легче всего будет показать свою мысль.

В древнем Новгороде не все, конечно, было строго продумано, хотя «продуманность» в строительстве древнерусских городов существовала в высокой мере. Были случайные строения, были случайности и в планировке, которые нарушали облик города, но был и его идеальный образ, как он представлялся в течение веков его строителям. Задача истории градостроительства — выявлять эту «идею города», чтобы продолжать ее творчески в современной практике, а не глушить новой застройкой, противоречащей старой.

Новгород строился по обоим низким берегам Волхова, у самих полноводных его истоков. В этом его отличие от большинства других древнерусских городов, стоявших на крутых берегах рек. В тех городах бывало тесно, но из них всегда виднелись на другом берегу заливные луга, столь любимые в Древней Руси широкие просторы. Это ощущение широкого пространства вокруг своих жилищ было характерно и для древнего Новгорода, хотя и стоял он не на крутом берегу. Волхов мощным и широким руслом вытекал из Ильмень-озера, которое хорошо было видно из центра города.

В новгородской повести XVI века «Видение пономоря Тарасия» описывается, как Тарасий, забравшись на кровлю Хутынского собора, видит оттуда озеро, как бы стоящее над городом, готовое пролиться и затопить Новгород. Перед Великой Отечественной войной, пока еще был собор, я проверял это ощущение: оно действительно очень острое и могло повести к созданию легенды о том, что Ильмень грозил затопить город.

Но Ильмень-озеро виднелось не только с кровли Хутынского собора, но прямо от ворот Детинца, выходящих на Волхов.

В былине о Садко поется, как Садко становится в Новгороде «под башню проезжую», кланяется Ильменю и передает поклон от Волги-реки «славному Ильмень-озеру».

Вид на Ильмень из Детинца, оказывается, не только замечался древними новгородцами, но и ценился. Он был воспет в былине...

Кандидат архитектуры Г. В. Алферова в своей статье «Организация строительства городов в русском государстве в XVI—XVII веках» обращает внимание на «Закон градский», известный на Руси начиная по крайней мере с XIII века. Восходит он к античному градостроительному законодательству, заключающему четыре статьи: «О виде на местность, который представляется из дома», «Относительно видов на сады», «Относительно общественных памятников», «О виде на горы и море». «Согласно этому закону,— пишет Г. В. Алферова,— каждый житель в городе может не допустить строительства на соседнем участке, если новый дом нарушит взаимосвязи наличных жилых сооружений с природой, морем, садами, общественными постройками и памятниками. Византийский закон апопсии (вид, открывающийся от здания) ярко отразился в русском архитектурном законодательстве «Кормчих книг...»

Русское законодательство начинается с философского рассуждения о том, что каждый новый дом в городе влияет на облик города в целом. «Новое

дело творит некто, когда хочет или разрушить, или изменить прежний вид». Поэтому новое строительство или перестройка существующих ветхих домов должны производиться с разрешения местных властей города и согласовываться с соседями: в одном из параграфов закона запрещается лицу, обновляющему старый, ветхий двор, изменять его первоначальный вид, так как если будет надстроен или расширен старый дом, то он может отнять свет и лишить вида («прозора») соседей.

Особое внимание в русском градостроительном законодательстве обращается на открывающиеся из домов и города виды на луга, перелески, на море (озеро), реку.

Связь Новгорода с окрестной природой не ограничивалась только видами. Она была живой и реальной. Концы Новгорода, его районы, подчиняли себе окружающую местность административно. Прямо от пяти концов (районов) Новгорода веером расходились на огромное пространство подчиненные Новгороду новгородские «пятины» — области. Город со всех сторон был окружен полями, по горизонту вокруг Новгорода шел «хоровод церквей», частично сохранившийся еще и сейчас. Один из наиболее ценных памятников древнерусского градостроительного искусства — это существующее еще и сейчас и примыкающее к Торговой стороне города Красное (красивое) поле. По горизонту этого поля, как ожерелье, виднелись на равных расстояниях друг от друга здания церквей — Георгиевский собор Юрьева монастыря, церковь Благовещения на Городце, Нередица, Андрей на Ситке, Кириллов монастырь, Ковалево, Волотово, Хутынь. Ни одно строение, ни одно дерево не мешало видеть этот величественный венец, которым окружил себя Новгород по горизонту, создавая незабываемый образ освоенной, обжитой страны — простора и уюта одновременно.

Сейчас по горизонту Красного поля появляются какие-то бесформенные хозяйственные постройки, само поле зарастает кустарником, который скоро превратится в лес и заслонит собою вид, вал, который издавна служил местом прогулок, особенно прекрасных вечером, когда косые лучи солнца особенно высвечивали белые строения по горизонту, не восстанавливается вид на Ильмень с Торговой стороны Новгорода, не только от Кремля, закрыт валами бесцельно вырытой земли для строительства предполагавшегося водноспортивного канала, по середине русла Волхова стоят громадные быки еще в 1916 г. начатого, но так, к счастью, и не осуществленного железнодорожного моста.

Долг современных градостроителей перед русской культурой — не разрушать идеальный строй наших городов даже в самом малом, а поддерживать его и творчески развивать.

...Стоит вспомнить о предложении академика Б. Д. Грекова, высказанном им еще в конце войны, после освобождения Новгорода: «Новый город следует строить несколько ниже по течению Волхова в районе Деревяницкого монастыря, а на месте древнего Новгорода устроить парк-заповедник. Ниже по течению Волхова и территория выше, и строительство будет дешевле: не надо будет нарушать многометровый культурный слой древнего Новгорода дорогостоящими глубокими фундаментами домов».

Это предложение следовало бы учитывать при проектировании новой застройки во многих старых городах. Ведь строительство легче осуществлять там, где оно не будет врезаться в старое. Новые центры древних городов должны строиться вне старых, а старые должны поддерживаться в своих

наиболее ценных градостроительных принципах. Архитекторы, строящие в давно сложившихся городах, должны знать их историю и бережно сохранять их красоту.

А как все-таки строить, если это необходимо, рядом со старыми зданиями? Единого метода предложено быть не может, одно бесспорно: новые здания не должны заслонять собой исторические памятники, как это случилось в Новгороде и в Пскове (церковь Сергия с Залужья, застроенная домами-коробками, против Октябрьской гостиницы в центре города или громадное здание кинотеатра, поставленное вплотную к Кремлю). Невозможна также никакая стилизация. Стилизуя, мы убиваем старые памятники, вульгаризируем, а иногда невольно пародируем подлинную красоту.

Приведу такой пример. Один из архитекторов Ленинграда считал самой характерной для города чертой шпили. Шпили в Ленинграде действительно есть, главных три: Петропавловский, Адмиралтейский и на Инженерном (Михайловском) замке. Но когда на Московском проспекте появился новый, довольно высокий, но случайный шпиль на обыкновенном жилом доме, семантическая значимость шпилей, отмечавших в городе главные сооружения, уменьшилась. Была разрушена и замечательная идея «Пулковского меридиана»: от Пулковской обсерватории прямо по меридиану шла математически прямая многоверстная магистраль, упиравшаяся в «Адмиралтейскую иглу». Адмиралтейский шпиль был виден от Пулкова, он мерцал золотом вдали и притягивал к себе взор путника, въезжавшего в Ленинград со стороны Москвы. Теперь этот неповторимый вид перебит стоящим посередине Московского проспекта новым жилым домом со шпилем над ним.

Поставленный по необходимости среди старых домов новый дом должен быть «социален», иметь вид современного здания, но не конкурировать с прежней застройкой ни по высоте, ни по прочим архитектурным модулям. Должен сохраняться тот же ритм окон; должна быть гармонирующей окраска.

Но бывают иногда случаи необходимости «достройки» ансамблей. На мой взгляд, удачно закончена застройка Росси на площади Искусств в Ленинграде домом на Инженерной улице, выдержанным в тех же архитектурных формах, что и вся площадь. Перед нами не стилизация, ибо дом в точности совпадает с другими домами площади. Есть смысл в Ленинграде так же гармонично закончить и другую площадь, начатую, но не завершенную Росси — площадь Ломоносова: в дом Росси на площади Ломоносова «врезан» доходный дом XIX века.

Культурную экологию не следует смешивать с наукой реставрации и сохранения отдельных памятников. Культурное прошлое нашей страны должно рассматриваться не по частям, как повелось, а в его целом. Речь должна идти и о том, чтобы сохранить самый характер местности, «ее лица необщее выражение», архитектурный и природный ландшафт. А это значит, что новое строительство должно возможно меньше противостоять старому, с ним гармонировать, сохранять бытовые навыки народа (это ведь тоже «культура») в своих лучших проявлениях. Чувство плеча, чувство ансамбля и чувство эстетических идеалов народа — вот чем необходимо обладать и градостроителю и, в особенности, строителю сел. Архитектура должна быть социальной. Культурная экология должна быть частью экологии социальной.

Пока же в науке об экологии нет раздела о культурной среде, позволительно говорить о впечатлениях.

Вот одно из них. В сентябре 1978 года я был на Бородинском поле вместе с замечательнейшим энтузиастом своего дела реставратором Николаем Ивановичем Ивановым. Обращал ли кто-нибудь внимание на то, какие преданные своему делу люди встречаются именно среди реставраторов и музейных работников? Они лелеют вещи, и вещи платят им за это любовью.

Именно такой, внутренне богатый человек и был со мной на Бородинском поле — Николай Иванович. Пятнадцать лет он не уходит в отпуск: он не может без Бородинского поля. Он живет несколькими днями Бородинской битвы: двадцать шестым августа (по старому стилю) и днями, которые предшествовали битве. Поле Бородина имеет колоссальное воспитательное значение.

Я ненавижу войну, я перенес ленинградскую блокаду, нацистские обстрелы мирных жителей из теплых укрытий в позициях на Дудергофских высотах, я был очевидцем героизма, с каким защищали советские люди свою Родину, с какой непостижимой стойкостью сопротивлялись врагу. Может быть, поэтому Бородинская битва, всегда поражавшая меня своей нравственной силой, обрела для меня новый смысл. Русские солдаты отбили на батарее Раевского восемь ожесточеннейших атак, следовавших одна за другой с неслыханным упорством. Под конец солдаты обеих армий сражались в полной тьме, на ощупь. Нравственная сила русских была удесятерена необходимостью защитить Москву. И мы с Николаем Ивановичем обнажили головы перед памятниками, что были воздвигнуты на Бородинском поле благодарными потомками.

И здесь, на этой национальной святыне, политой кровью защитников Родины, в 1932 году был взорван чугунный памятник на могиле Багратиона. Те, кто это сделали, совершили преступление против самого благородного из чувств — признательности герою, защитнику национальной свободы России, признательности русских брату-грузину, командовавшему с необыкновенным мужеством и искусством русскими войсками в самом опасном месте битвы. Как расценить тех, кто в те же годы намалевал гигантскую надпись на стене монастыря, построенного на месте гибели Тучкова Четвертого его вдовой: «Довольно хранить остатки рабского прошлого!» Понадобилось вмешательство газеты «Правда» в 1938 году, чтобы надпись эта была уничтожена.

И еще о чем хотелось бы вспомнить. Город, в котором я родился и живу всю жизнь,— Ленинград, связан прежде всего в своем архитектурном облике с именами Растрелли, Росси, Кваренги, Захарова, Воронихина. По дороге с главного ленинградского аэродрома стоял Путевой дворец Растрелли. Прямо в лоб: первое большое здание Ленинграда и Растрелли! Оно было в очень плохом состоянии — стояло близко от линии фронта, но советские бойцы сделали все, чтобы сохранить его. И если бы его реставрировать, какой праздничной была бы эта увертюра к Ленинграду. Снесли! Снесли в конце шестидесятых годов. И ничего нет на этом месте. Пусто на его месте, пусто в душе, когда это место проезжаешь.

Кто же эти люди, убивающие живое прошлое, прошлое, которое является и нашим настоящим, ибо культура не умирает? Иногда это сами архитекторы — из тех, которым очень хочется поставить «свое творение» на выигрышном месте.

Иногда это реставраторы, заботящиеся о том, чтобы выбирать себе наиболее «выгодные» объекты, о том, чтобы восстановленное произведение искусства принесло им славу, и восстанавливающие старину по своим собственным, иногда очень примитивным представлениям о красоте.

Иногда же это совсем случайные люди: «туристы», разводящие костры вблизи памятников, оставляющие свои надписи или выковыривающие изразцы «на память». И за этих случайных людей ответственны все мы. Мы должны позаботиться о том, чтобы таких случайных убийц не было, чтобы вокруг памятников был нормальный нравственный климат, чтобы все — от школьников и до работников городских и областных организаций — знали, какие памятники доверились их знаниям, их общей культуре, их чувству ответственности перед будущим.

Одних запрещений, инструкций и досок с указанием «Охраняется государством» недостаточно. Надо, чтобы факты хулиганского или безответственного отношения к культурному наследию неукоснительно разбирались в судах и виновных строго наказывали. Но и этого мало. Совершенно необходимо в программе средней школы ввести преподавание краеведения с основами биологической и культурной экологии, шире создавать в школах кружки по истории и природе родного края. К патриотизму нельзя призывать, его нужно заботливо воспитывать.

Итак, экология культуры!

Есть большое различие между экологией природы и экологией культуры, к тому же весьма принципиальное.

До известных пределов утраты в природе восстановимы. Можно очистить загрязненные реки и моря, можно восстановить леса, поголовье животных, конечно, если не перейдена известная грань, если не уничтожена та или иная порода животных целиком, если не погиб тот или иной вид растений. Удалось же восстановить зубров — и на Кавказе, и в Беловежской Пуще, даже поселить в Бескидах, то есть там, где их раньше и не было. Природа при этом сама помогает человеку, ибо она «живая». Она обладает способностью к самоочищению, к восстановлению нарушенного человеком равновесия. Она залечивает раны, нанесенные ей извне — пожарами, вырубками, ядовитой пылью, сточными водами.

Иначе обстоит дело с памятниками культуры. Их утраты невосстановимы, ибо памятники культуры всегда индивидуальны, всегда связаны с определенной эпохой, с определенными мастерами. Каждый памятник разрушается навечно, искажается навечно, ранится навечно.

«Запас» памятников культуры, «запас» культурной среды крайне ограничен в мире, и он истощается со все прогрессирующей скоростью. Техника, которая сама является продуктом культуры, служит иногда в большей мере умерщвлению культуры, чем продлению ее жизни. Бульдозеры, экскаваторы, строительные краны, управляемые людьми бездумными, неосведомленными, уничтожают и то, что в земле еще не открыто, и то, что над землей,— уже служившее людям. Даже сами реставраторы, руководствуясь своими собственными, недостаточно проверенными теориями или современными представлениями о красоте, становятся иногда в большей мере разрушителями, чем охранителями памятников прошлого. Уничтожают памятники и градостроители, особенно если они не имеют четких и полных исторических знаний. На земле становится тесно для памятников культуры не потому, что земли мало, а потому, что строителей притягивают к себе старые места,

обжитые и оттого кажущиеся особенно красивыми и заманчивыми для градостроителей.

Градостроителям, как никому, нужны знания в области экологии культуры.

В первые годы после Великой Октябрьской революции краеведение переживало бурный расцвет. По различным причинам в тридцатые годы оно почти прекратило свое существование, специальные институты и многие краеведческие музеи были закрыты. А краеведение как раз и воспитывает живую любовь к родному краю и дает те знания, без которых невозможно сохранение памятников культуры на местах. На его основе можно серьезнее и глубже решать местные экологические проблемы. Давно высказывалось мнение, что краеведение следует ввести в качестве дисциплины в школьные учебные программы. До сих пор этот вопрос остается открытым.

Чтобы сохранить памятники культуры, необходимые для «нравственной оседлости» людей, мало только платонической любви к своей стране, любовь должна быть действенной.

А для этого нужны знания, и не только краеведческие, но и более глубокие, объединяемые в особую научную дисциплину — экологию культуры.

СОДЕРЖАНИЕ

Лихачев Д. С.

Л65 Заметки о русском.— 2-е изд., доп.— М.: Сов. Россия, 1984.— 64 с.

Академик Д. С. Лихачев — один из крупнейших современных исследователей древней русской литературы — знакомит читателей со своими размышлениями о природе и доброте, о просторах и пространстве, об особенностях национального русского характера. Писатель приходит к выводу, что народы — это не окруженные стенами сообщества, а гармонично согласованные между собой ассоциации.

Второе издание дополнено главами «Величие Киева» и «Экология культуры».

Л $\frac{4702010200-090}{М\text{-}105(03)84}$ 155—84 8

Дмитрий Сергеевич Лихачев

ЗАМЕТКИ О РУССКОМ

Редактор **О. А. Рябова**
Художественный редактор **Л. Е. Безрученков**
Технический редактор **Т. С. Маринина**
Корректор **М. С. Никитина**

ИБ № 3311

Сдано в наб. 13.12.83. Подп. в печать 20.03.84. А05792. Формат 60×84/8. Бумага офсет. № 1. Гарнитура обыкновенная новая. Печать офсетная. Усл. п. л. 7,44. Усл. кр.-отт. 14,88. Уч.-изд. л. 4,94. Тираж 50 000 экз. Заказ № 4375. Цена. 85 к. Изд. инд. ХД—501. Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, проезд Сапунова, 13/15. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.